Оттокар Чернин

В ДНИ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии

• ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА •

Оттокар Чернин
В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии
Серия «Военно-историческая библиотека (Вече)»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65332572
В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии: Вече; Москва; 2021
ISBN 978-5-4484-8668-5

Аннотация

Граф Оттокар Теобальд Отто Мария Чернин фон унд цу Худениц – министр иностранных дел Австро-Венгрии в 1916–1918 гг. – оставил воспоминания, которые представляют события Первой мировой вплоть до Брестского мира с точки зрения истеблишмента двуединой империи, прекратившей по итогам той бойни свое существование. В войне виноваты, по его мнению, Сербия, Италия и агрессивные русские генералы. Такой же однобокий подход можно наблюдать и в

рассказах автора о других событиях тех лет. Делает ли это мемуары дипломата неактуальными для современного читателя? Нисколько. Напротив, переведенные на русский еще в 1920-х годах, они со временем только повышают свою ценность.

Содержание

Из предисловия М. Павловича к изданию 1923 года 6
Предисловие к немецкому изданию 22
I. На пороге войны 24
1 26
2 33
3 44
4 48
5 55
II. Конопишт 77
1 78
2 100
III. Вильгельм II 104
1 105
Конец ознакомительного фрагмента. 121

Оттокар Чернин
В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии

© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
Сайт издательства www.veche.ru

Из предисловия М. Павловича к изданию 1923 года

Книга Чернина, бывшего австрийского министра иностранных дел, руководителя иностранной политики двуединой империи в последний период мировой войны, не обнаруживает в авторе широкого государственного ума и способности понять мировые события и катастрофу, приведшую к кровавой бойне 1914–1918 годов…

С точки зрения Чернина, война была вызвана кучкой сербских убийц, а затем и русских воинствующих генералов, создавших положение, при котором и государственные люди великих держав оказались-де застигнутыми врасплох событиями. «Россия создала безвыходное положение и вызвала мировую войну», – говорит Чернин.

Насколько Чернин рассматривает все события мировой войны с узкой точки зрения австрийского империалиста, видно из того, что наряду с Сербией и Россией он готов признать третьим главным виновником войны… Италию! Чернин уверяет, что мировую войну начала Россия, но помехой компромиссному миру была всегда Италия, потому что она упорно настаивала на безусловной передаче ей всей австрийской территории, обещанной ей в 1915 году. Антанта распределила-де на время войны роли так, что Франция поставляла

преимущественно живую силу, Англия взяла на себя, помимо поистине изумительных военных подвигов, совместное с Америкой финансирование войны, но дипломатическими переговорами руководила Италия.

Само собой разумеется, что приписывание столь ответственного влияния в мировой войне итальянской дипломатии решительно ни на чем не основано и противоречит не только логике вещей, но и хорошо известным фактам. На Версальской конференции союзники очень мало считались с представителями Италии. Во время самой войны содержание Лондонского договора, заключенного в апреле 1915 года, не было известно самим итальянским министрам, которые, как утверждает бывший итальянский премьер-министр Нитти, познакомились с договором лишь после того, как советское правительство опубликовало тайные документы, находившиеся в царском министерстве иностранных дел.

Мы, конечно, не склонны умалять ответственности царского правительства и особенно кадетской партии в кровавой бойне 1914–1918 годов; мы неоднократно доказывали, что царское правительство в такой же мере, как правительства Франции, Германии и Англии, повинно в мировой войне. Но, конечно, было бы в высшей степени ненаучно возлагать на царское правительство всю ответственность за войну и считать правительства других стран вовлеченными в войну чуть ли не против своей воли. Чернин совершенно забывает о той роли, которую сама империалистическая Авст-

ро-Венгрия, не желавшая отказываться от планов гегемонии на Балканах, играла в качестве одного из важнейших факторов войны 1914 года.

Чернин как будто не помнит о знаменитой статье австрийского военного писателя, выступившего под многозначительным псевдонимом Кассандера – от имени мрачной прорицательницы Кассандры, статье, заканчивающейся следующими словами:

«Вооружайтесь, вооружайтесь. Вооружайтесь для решительного боя. Балканы мы должны приобресть. Нет другого средства для того, чтобы остаться великой державой. Для нас дело идет о существовании государства, об избежании экономического краха, который, несомненно, повлечет за собой распадение монархии. Для нас дело идет о том, быть или не быть.

Наше тяжелое экономическое положение может быть улучшено только тогда, когда мы приобретем Балканы, как исключительную, нам принадлежащую колонию для сбыта нашего промышленного перепроизводства, вывоза излишка населения и нашего духовного перепроизводства.

Вооружайтесь, вооружайтесь. Приносите деньги лопатами и шапками, отдавайте последний грош, сплавляйте кубки и серебро, отдавайте золото и драгоценные камни на железо. Предоставляйте ваши последние силы на вооружение неслыханное, какого еще свет не видел, ибо дело идет о последнем решительном бое великой монархии. Дайте ружье в ру-

ки отрока и вооружайте старца. Вооружайтесь беспрестанно и лихорадочно, вооружайтесь днем и ночью, – чтобы быть готовыми, когда настанет день решения. Иначе дни Австрии сочтены».

Статья эта, написанная, несомненно, по заказу правительства Австро-Венгрии, вызвала сенсацию в двуединой империи и во всей Европе. Наряду с пресловутой статьей Сухомлинова в «Биржевых ведомостях», статьями Жюля Гейдемана, Стефана Лозанна и др. во французской прессе и соответствующими статьями в немецкой печати статья Кассандера явилась одним из средств психологической подготовки широких масс населения к идее неизбежной войны и вместе с тем средством добиться новых кредитов на вооружение.

Что австро-венгерское правительство усиленно готовилось к войне за Балканы, это явствует не только из многочисленных австрийских газетных и журнальных статей и отдельных книг и брошюр, не только из речей государственных деятелей двуединой империи, но и из темпа вооружений Австро-Венгрии накануне мировой войны.

Австро-венгерский военный министр Кробатин внес в сентябре 1913 года законопроект об ассигновании 400 миллионов крон на новое увеличение состава австро-венгерской армии и на приведение ее в полную боевую готовность. Контингент новобранцев (180 тысяч в 1912 году) должен был быть увеличен ежегодно на 35–40 тысяч человек с таким расчетом, чтобы через три года – в 1916 году мирный состав

армии равнялся 600 тысячам человек. В апреле 1914 года, то есть как раз накануне войны, в делегации вносится новый законопроект о бюджете на будущий период (с 1 июля 1914 года по 31 июля 1915 года). На нужды военного министерства испрашивается бюджет в 754 миллиона крон. Выдвигается новая морская программа, требующая ассигновки 426 миллионов крон, рассроченных на пять лет, для постройки четырех новых броненосцев, трех крейсеров и нескольких более мелких судов специально для плавания по Дунаю. Все эти непомерные требования, предъявленные делегациям, мотивируются в тронной речи «изменением военно-политического положения на Ближнем Востоке».

В общих чертах последние вооружения Австрии как раз накануне войны сводятся к следующему.

1. Прежде всего, признаются недостаточными укрепления Галиции на русской границе. Придерживаясь старого плана наступательных операций против России по направлению к Брест-Литовску как редуту русских крепостей австрийский Генеральный штаб все же считает необходимым усилить оборону Галиции, чтобы спасти последнюю от наводнения многочисленными русскими войсками, которые могут захватить карпатские горные проходы и утвердиться в них. Ввиду этого обстоятельства новым бюджетом испрашивается 23 миллиона крон на усиление крепостей Кракова и Пржемысла и на сооружение фортов-застав во многих дефиле, ведущих из Галиции через Карпаты.

2. В ответ на усиление русских пограничных гарнизонов кавалерийскими частями начата реорганизация венгерской кавалерии, на которую возлагается специальная миссия действовать против русской конницы в самом начале войны.

3. Согласно опыту Русско-японской и Балканской войн, доказавших важное значение тяжелой артиллерии в полевой войне, всем действующим корпусам в достаточном количестве придаются тяжелые гаубицы.

4. Численность ежегодного контингента мирного времени увеличена на 34 000 для действующей армии, 10 000 для ландвера и 10 000 для гондвера (венгерский ландвер). Общая численность контингента составляла 262 000, которая распределяется на 159 000 от Австрии и 103 000 от Венгрии. Таким образом, по новому военному закону кадровый состав армии увеличивался на 50 000 человек, что должно было довести мирный состав армии до 524 000 человек.

5. Ввиду усиления Сербии и тесного слияния этого государства с Черногорией проектируется затрата значительных средств на укрепление государственной границы Боснии и Герцеговины со стороны соседних балканских государств. Здесь была начата постройка батарей и тет-де-понов (предмостных укреплений) по линии Савы и Дрины, укреплялись подступы со стороны Сербии по направлению к Сараеву, где строились крепости Зворник, Вышеград и Серебряники.

Настаивая на необходимости новых усиленных вооружений, наследный эрцгерцог при докладе бюджета на 1914–

1915 годы заявляет без обиняков, что Австрия должна быть сильна для проведения имперской политики на Балканском полуострове.

В общем, для осуществления всех этих проектов испрашивалось обыкновенных расходов: на армию – 485 184 415 крон (увеличение на 55,5 миллиона по сравнению с прошлогодним бюджетом), на флот – 76 266 710 крон. Специальные же кредиты испрашивались: на нужды армии – 81 310 000 крон, на флот – 121 000 000 крон. Итого на усиление боевой готовности Австрии требовалось 854 миллиона крон, сумма грандиозная для государства, обладавшего весьма скудными финансовыми средствами.

Так австро-венгерское правительство ответило на призыв Кассандера и других наемных писак, требовавших новых и новых вооружений для осуществления захватных планов на Балканах.

«Какое несчастие, австрийская армия имеет на 30 000 человек личного состава меньше, чем нужно!» – с глубокой тревогой восклицает австрийский военный министр Ауффенберг в своей патетической речи на заседании австро-венгерских делегаций 28 декабря 1911 года. Нужно для чего? Понятно, для осуществления захватных планов на Балканах.

Но если стремление воинствующих австрийских генералов, биржевиков и спекулянтов к гегемонии на Балканах было законно, то естественно, что стремление русских генералов и кадетов, вроде Милюкова, к захвату Константинопо-

ля и Дарданелл было с австрийской точки зрения преступно, ибо такие планы шли вразрез с австро-венгерскими проектами. Вот почему Чернин, как австрийский империалист, с особой ненавистью относится к России, Сербии, а также Италии, которая, стремясь к захвату Албании, поддерживала Черногорию против Австрии, не говоря уже об итальянских планах насчет Триеста и Тироля.

Стараясь по возможности умалить ответственность австрийского правительства в войне, Чернин, однако, порой не щадит австро-венгерского союзника и покровителя императора Вильгельма II. Бывший министр двуединой империи подчеркивает, что весь образ действия Германии, все поведение ее, речи Вильгельма, выступление Пруссии на арене мировой политики, вечное превозношение собственного могущества и бряцание оружием пробудили во всем мире чувства антипатии и тревоги и создали ту моральную коалицию против Германии, которая нашла себе такое ужасное практическое воплощение в войне. С другой стороны, он глубоко убежден, что германские или, лучше сказать, прусские тенденции были всем миром поняты превратно и что влиятельные круги Германии никогда не стремились к мировому господству.

«Они хотели утвердить себе место под луной, они стремились встать наряду с первыми державами мира; это было их право; но безусловные и вечные германские провокации и вызванные ими, и постоянно усиливавшиеся, опасе-

ния Антанты создали ту роковую конкуренцию в вооружении и ту коалиционную политику, которая разразилась войной, подобной страшному урагану.

Страх перед агрессивностью Германии и недостаточность собственных средств обороны породили безумную лихорадку вооружений, столь характерную для эпохи, предшествовавшей войне. Состязание иметь больше солдат и более снарядов, чем у соседа, должно было привести к абсурду. Доспехи Европы стали столь тяжелы, что нести их дольше не было сил, и каждому давно было ясно, что по этому пути дольше идти невозможно, что представляются только две возможности: добровольное всеобщее разоружение или война».

Но, спрашивается, почему же австро-венгерское правительство заключило союз с таким агрессивным государством, как Германия Вильгельма II, и стойко держалось этого союза? По сравнению с Италией, Румынией и т. д. Австро-Венгрия была сильной промышленной страной, ее тяжелая артиллерия стояла на необыкновенной высоте, знаменитые 42-сантиметровые пушки, пресловутые «Берты», разгромившие Льеж и Намюр, были изготовлены на заводах «Шкода»; то же приходится сказать о пресловутом орудии, обстреливавшем Париж с расстояния 120 километров, равным образом, изготовленном на австрийских военных заводах. Австро-Венгрия отнюдь не была колонией Германии и могла вести самостоятельную политику. Но если она связала свою судьбу с судьбой Германии, это произошло только по-

тому, что у обеих держав были такие планы насчет Ближнего Востока, которые делали их союзниками.

Чернин, не сознавая этого, самым ярким образом подчеркивает ответственность австро-венгерского правительства и правящих классов империи в мировой войне, равно как мотивы, по которым недальновидные австрийские дипломаты и генералы бросились в авантюру, когда он пишет:

«Для меня не подлежит никакому сомнению, что Берхтольду даже во сне не снилась мировая война в тех размерах, в которых она разразилась, и что он прежде всего был убежден в том, что война против Франции и России во всяком случае окончится победой. Я думаю, что душевное состояние, в котором граф Берхтольд предъявлял ультиматум Сербии, можно отчасти определить следующим образом: или Сербия примет ультиматум, а это означало бы крупный дипломатический успех, или она его отклонит, и тогда война – победоносная благодаря поддержке Германии – поведет к возрождению новой, несравненно сильнейшей, двуединой монархии. У Берхтольда, очевидно, не было сомнения в том, что война с Сербией поведет также и к войне с Россией. По крайней мере, донесения моего брата из Петербурга[1] не оставляли в этом сомнения».

Всякого рода оговорки, к которым прибегает Чернин в це-

---

[1] Отто Чернин был австро-венгерским посланником в Петербурге. – *Примеч. ред.*Россия не объявляла Австро-Венгрии войну – это сделала сама двуединая монархия 6 августа около 18 часов. – *Примеч. ред.*

лях переложения всей ответственности за войну на Россию и Сербию, конечно, не могут ослабить значения только что цитированных нами строк, которые являются крайне важным признанием в устах бывшего министра Австро-Венгерской империи, свидетельствующим, что австро-венгерское правительство сознательно вело дело к войне с Россией и Францией, не учтя последствий этого акта.

Чернин подчеркивает, что во время австро-сербского конфликта германский посол в Вене фон Чиршки делал все от него зависящее, чтобы помешать мирному улаживанию австро-сербского конфликта, и всеми силами провоцировал войну. По словам Чернина, все частые беседы фон Чиршки сводились в то время к общему мотиву: «Теперь или никогда!» Крайне любопытно и не лишено основания то объяснение, которое Чернин дает этой провокационной политике немецкого посла:

«Несомненно, что германский посол толковал свои слова в том смысле, что Германия в данный момент готова поддержать его слова всем своим влиянием и всей своей силой; но что он сомневается в том, что она так поступит и в будущем, если мы проглотим “сербскую пощечину”. Мне кажется, что именно фон Чиршки был глубоко убежден в том, что Германии предстоит в самом недалеком будущем пережить войну с Францией и Россией, и что он считал 1914 год наиболее благоприятным, во-первых, потому, что он не верил в боевую готовность России и Франции, а во-вторых, –

что очень существенно – он считал, что сейчас ему удастся вовлечь и Австро-Венгрию в войну, тогда как при другой конъюнктуре, когда жертвой нападения окажется не сам миролюбивый Франц-Иосиф, он не захочет выступить в интересах одной Германии. Одним словом, он хотел воспользоваться сербским инцидентом, чтобы обеспечить за собой Австро-Венгрию для решительной борьбы».

«Но это была политика фон Чиршки, а вовсе не Бетмана», – оговаривается Чернин, стараясь ослабить значение делаемых им признаний и пытаясь, таким образом, переложить ответственность за провокационную политику с германского правительства на немецкого посла в Вене. Но эта неискренняя и противоречащая другим заявлениям самого Чернина попытка является покушением с явно негодными средствами. Из целого ряда документов, опубликованных в германской печати, и в частности из «высочайших» пометок Вильгельма II на всех сообщениях своего посла в Вене о развитии австро-сербского конфликта, мы знаем, что фон Чиршки безусловно действовал в духе инструкций, полученных из Берлина.

Заслуживает внимания и цитируемое Черниным соображение фон Чиршки относительно того, что если в 1914 году Германия имела полное основание рассчитывать на полную поддержку Австро-Венгрии в войне с Россией и Францией, то это не значило, что при другой конъюнктуре Австрия выступила бы рука об руку с Германией. В самом деле – подоб-

но тому, как Румыния и Италия, вопреки военному союзу с Германией и Австрией, выступили с оружием против последних, Австрия, если бы того требовали ее интересы, отнюдь не считала бы себя связанной «клочком бумаги» и воздержалась бы от войны «в интересах одной Германии». И именно это обстоятельство доказывает, что Австрия в мировой войне 1914–1918 годов играла роль одного из главных виновников этой бойни.

Несомненно, что борьба Германии и Англии за мировую гегемонию, борьба, о которой говорит Чернин, явилась одним из важнейших факторов мировой войны и сыграла крупную роль в возникновении мирового пожара. Но наряду с англо-германским конфликтом в происхождении мировой войны сыграло колоссальную роль соперничество России как с Германией из-за гегемонии в Малой Азии, так и с Австрией из-за гегемонии на Балканах, равно как франко-германское соперничество из-за Африки, из-за железных рудников и угольных копей Эльзас-Лотарингии, Бриэ и Саарского бассейна. И именно потому, что накануне войны 1914–1918 годов пришли в острое столкновение не только империалистические планы Германии и Англии, но также Германии и России, Германии и Франции, Австрии и России, мы имели в результате не англо-германскую только или даже не англо-германо-франко-русскую войну, а мировую войну…

Как исторический документ, мемуары Чернина представ-

ляют несомненную ценность. Факты, которые приводит сам Чернин, вполне опровергают его уверения насчет миролюбивых планов Австрии и ее желания избегнуть войны. Австро-венгерский империализм, захватная австрийская политика на Балканах, особенно в Босно-Герцеговине, по отношению к Сербии и Албании, наконец, острота национального вопроса в двуединой империи – все эти факторы сыграли слишком крупную роль в происхождении мировой войны, чтобы историку последней можно было пройти мимо мемуаров австрийского министра, одного из руководителей внешней политики Австро-Венгрии в самый трагический момент ее истории, накануне крушения империи Габсбургов.

Что касается национального вопроса, то лишь в свете роковых для Австрийской империи событий войны Чернин и многие другие государственные деятели двуединой империи – правда, слишком поздно – поняли все значение для империи этого вопроса. Едва ли какой-либо другой государственный деятель так ярко подчеркнул все значение национальной проблемы в современную эпоху, как Чернин, когда он, стоя над развалинами Австро-Венгрии, пишет:

«Час Австро-Венгрии пробил. Все немногие государственные деятели, которые летом 1914 года стремились к войне как, например, Чиршки и Билинский, боявшийся за судьбы Боснии, – конечно, раскаялись и пересмотрели свои взгляды всего несколько месяцев спустя. Ведь и они не верили в мировую войну. Несмотря на это, мне теперь кажется,

что распадение двуединой империи наступило бы и помимо этой войны и что сараевское убийство было бы и при других условиях сигналом к катастрофе. Наследный эрцгерцог стал жертвой великосербских чаяний; эти чаяния, включавшие в себя отторжение наших югославянских провинций, не замерли бы, если бы Австро-Венгрия перешла от убийства к порядку дня. Напротив, они от этого только усилились бы и укрепили бы центробежные силы других народностей, входящих в нее…

Конечно, нельзя сказать, в какую форму вылилось бы распадение монархии, если бы удалось избежать войны. Но оно, несомненно, было бы менее ужасно. Процесс, вероятно, протекал бы более медлительно и не увлек бы за собой всего мира. Мы обречены на гибель и должны были умереть. Но род смерти мы могли выбрать, и мы выбрали самую ужасную смерть. Сами того не зная, мы с началом войны потеряли нашу самостоятельность. Из субъекта мы превратились в объект».

В другом месте Чернин говорит:

«Габсбургская монархия представляла собой прекрасную лабораторию для изучения неразрешенных национальных вопросов и для констатирования их разрывного действия, прежде чем от них взлетел на воздух весь мир».

В переживаемый нами исторический момент, когда Большая и Малая Антанта ведут безумную политику невиданного национального угнетения побежденных народов в такой

форме, какой не знали ни царизм, ни австро-венгерская реакция, когда 60 миллионов германских немцев стонут под сапогом французского жандарма и сенегальского стрелка, когда поведение дунайской комиссии в Вене и Будапеште представляет собой – по словам бывшего итальянского премьера Нитти – настоящий пир во время чумы, когда союзники и сателлиты Большой Антанты – Польша и Румыния – ведут самую разнузданную националистическую политику, снова начинается «разрывное действие» тех факторов, от которых, по словам Чернина, взлетел на воздух весь мир и погибла двуединая империя. Польша, Румыния, Югославия готовят себе гибель, и Франции грозит новая война с Германией. Недаром Нитти восклицает: «Наши сыновья переживут еще более страшную трагедию, чем испытания, выпавшие на долю нашего поколения».

Таким образом, кроме призрака войн империалистических, перед капиталистическим миром встает призрак войн национальных. И, таким образом, оправдываются пророческие слова Ленина, написанные им в 1916 году и цитированные т. Зиновьевым на XII партийном съезде, – о возможности великой национальной войны в Европе, в результате порабощения ряда жизнеспособных национальных государств…

Предисловие к немецкому изданию

Невозможно вместить в одну маленькую книгу историю мировой войны, хотя бы отчасти исчерпывающую. И не это является моей задачей.

Моя задача состоит скорее в том, чтобы обрисовать отдельные события и личности, которые мне пришлось наблюдать в большой близости и потому особенно отчетливо, дать отдельные моментальные снимки великой драмы. Из отдельных развертывающихся здесь картин будет, однако, явствовать целое, которое, быть может, отклоняется кое в чем от уже известной, но еще столь неполной истории войны. Каждый человек рассматривает людей и события с собственной точки зрения. Это неизбежно. Я говорю в моей книге о людях, которые стояли ко мне близко, о других, которые прошли по моему пути, не оставив во мне никакого личного чувства, и, наконец, о людях, с которыми у меня были тяжелые столкновения. Я стараюсь судить обо всех объективно. Там, где изображение кажется неверным, причина лежит не в предвзятом мнении, а в недостаточных способностях критического анализа.

Не все хотелось говорить. Многое оставлено мною необъясненным, хотя оно и поддавалось объяснению. Время, отделяющее нас от описываемых событий, еще слишком мало, для того чтобы срывать с них покров.

Но то, о чем здесь не сказано, ничего не меняет в общей картине того, что запечатлелось у меня в памяти.

I. На пороге войны

Напряжение Европы. – В 1914 году ни Франция, ни Англия не хотели войны. – Моральная коалиция против Германии. – Лихорадочное безумие вооружения. – Последняя беседа Чернина с Францем-Фердинандом. – Катастрофа. – Берхтольд и ультиматум Сербии. – Телеграмма Лихновского и попытка Грея вмешаться. – Телеграмма короля Георга принцу Генриху. – Предложение Англии условно принято. – Войну начала Россия. – Тисса против резкого ультиматума. – Самоличные выступления Чиршки. – Он, а не Бетман, за вовлечение Австро-Венгрии в эту войну. – Аудиенция Чернина у императора в Ишле. – Румыния и Италия поставлены перед совершившимся фактом. – Наше величайшее несчастье: вторжение немцев в Бельгию. – 4 августа вечером: решение вопроса о нейтралитете Англии в руках Германии. – Первая роковая победа германской военной партии. – Наследие Бисмарка как проклятие для Германии. – Император Вильгельм в плену у своих генералов. – Антанта никогда не заблуждалась

1

Грозе, разражающейся громом и молнией, всегда предшествуют некоторые вполне определенные явления. Электричества распадаются, и гроза есть следствие известного, невыносимого атмосферического напряжения. Факт этот не меняется оттого, можем ли мы заранее подметить эти явления по внешним признакам и покажутся ли нам облака более или менее грозными: электрическое напряжение должно накопиться прежде, чем разразится гроза.

В министерствах иностранных дел всей Европы политический барометр стоял на буре уже целые годы. Временами он поднимался, чтобы снова упасть; иногда, конечно, он колебался, но уже все указывало на то, что над миром всего мира нависла опасность.

Видимые корни этого европейского напряжения восходят на годы назад – ко времени Эдуарда VII. Оно было вызвано, с одной стороны, страхом Англии перед гигантским ростом Германии, с другой – политикой Берлина, ставшей на Темзе пугалом, убеждением, что в Берлине укоренилась идея мировой гегемонии. Опасения эти, которые только отчасти вытекали из зависти и недоброжелательства, отчасти же из действительно обоснованных забот о своей собственной дальнейшей участи, привели Эдуарда VII к политике окружения, а за ней началась и прямая травля Германии. Известно, что

Эдуард VII предпринял попытку оказать воздействие на императора Франца-Иосифа с целью отклонить последнего от союза с Германией и заставить присоединиться к державам, объединяющимся против нее. Также известно, что император Франц-Иосиф от этого предложения отказался и что этот момент был поворотным в судьбе Австро-Венгрии. С этого момента мы больше не были самостоятельными вершителями нашей судьбы. Наша судьба была отныне связана с судьбой Германии, и мы сами не замечали, как союз с ней увлекал нас за собой.

Притом я вовсе не хочу оспаривать, что последние годы перед войной Германия все еще имела возможность избежать ее. Она должна была лишь разрушить назревшее в европейском общественном мнении подозрение об ее стремлении к мировой гегемонии. Я далек от того, чтобы утверждать, что западноевропейские державы шли на эту войну с легким сердцем, и упорно настаиваю на своем твердом убеждении, что государственные деятели, руководившие политикой западных держав, со своей стороны понимали положение вещей в том смысле, что, если им не удастся побить Германию, то гегемония ее неизбежна.

Я говорю «западные державы», поскольку думаю, что в России могущественная военная партия, возглавленная великим князем Николаем Николаевичем, придерживалась иных воззрений и начала эту войну с полным удовлетворением. Самое трагическое в несчастии, каковым оказалась эта

война, заключается в том, что ее, в сущности, никто из действительно ответственных лиц не желал, и она была вызвана кучкой сербских убийц, а затем и русских воинствующих генералов, создавших положение, при котором монархи и государственные люди великих держав оказались застигнуты врасплох событиями.

И действительно, необходимо в этом отношении определенно различать политику враждебных держав. Ни Франция, ни Англия в четырнадцатом году не хотели никакой войны. Во Франции идея реванша не потухала никогда, но все симптомы указывают на то, что в четырнадцатом году она отнюдь не имела намерения выступить, а – как и пятьдесят лет назад – откладывала момент начала войны на будущее. Война была для нее неожиданностью. Что же касается Англии, то, несмотря на антигерманскую политику, она хотела остаться нейтральной и приняла другой курс только ввиду вторжения в Бельгию. В России же был царь, который не знал, чего хотел, и не мог выполнить, что хотел, и военная партия, которая толкала к войне, несмотря ни на что. Россия фактически начала войну без всякого объявления. Остальные державы, Италия и Румыния, втянулись в войну из честолюбивых побуждений – в особенности Румыния. Из-за своего географического положения Италия была более выдвинута, более подвержена давлению Англии, и ей поэтому было труднее, чем Румынии, сохранить нейтралитет.

Но мировая война все же никогда не разразилась бы, ес-

ли бы возрастающее недоверие Антанты к замыслам Германии не довело бы общей ситуации до точки кипения. Весь образ действия Германии, все поведение ее, речи императора Вильгельма, выступление Пруссии на арене мировой политики, вечное превозношение собственного могущества и бряцание оружием пробудили во всем мире чувство антипатии и тревоги и создали ту моральную коалицию против Германии, которая нашла себе такое ужасное практическое воплощение в войне. С другой стороны, я глубоко убежден, что германские (или лучше сказать – прусские) тенденции были всем миром поняты превратно и что влиятельные круги Германии никогда не стремились к мировому господству. Они хотели утвердить себе место под луной, они стремились встать в один ряд с первыми державами мира; это было их право. Но безусловные и вечные германские провокации и вызванные ими постоянно усиливавшиеся опасения Антанты создали ту роковую конкуренцию в вооружении и ту коалиционную политику, которая разразилась войной, подобной страшному урагану.

Тревога Европы создала почву для воплощения французской идеи о реванше. Англия никогда не извлекла бы меча только для того, чтобы покорить Эльзас-Лотарингию, но, хотя политика Эдуарда проистекала не из французских, а из английских мотивов, французская идея реванша служила ей отличным дополнением. Страх перед агрессивностью Германии и недостаточностью собственных средств обороны

породил безумную лихорадку вооружений, столь характерную для эпохи, предшествовавшей войне. Состязание иметь больше солдат и более снарядов, чем у соседа, должно было привести к абсурду. Доспехи Европы стали столь тяжелы, что нести их дольше не было сил, и каждому давно было ясно, что по этому пути дольше идти невозможно, что представляются только две возможности: добровольное всеобщее разоружение или война.

Слабая попытка к первому была сделана в 1912 году, во время переговоров Германии и Англии о разоружении флота; они не пошли дальше первых шагов и прекратились, но виноваты в этом были обе стороны одинаково. Англия отнюдь не выказала более миролюбия и готовности к компромиссам, чем Германия, она была лишь ловчее, и ей удалось внушить миру убеждение, что она находится под угрозой германских захватных стремлений.

Мне вспоминается одно удивительно меткое замечание, которое я слышал от выдающегося государственного деятеля одной из нейтральных держав. Он ехал на одном американском пароходе, в числе пассажиров которого были, между прочим, один крупный германский промышленник и один англичанин. Немец был очень словоохотлив, любил набирать себе возможно больше слушателей и пространно рассказывать им о «развитии Германии», о неудержимом устремлении германского народа к расширению своих владений, о необходимости пронизать мир германской культурой и, на-

конец, о «всесторонних успехах, достигнутых в этих областях». Он рисовал картину постепенного захвата Германией мирового рынка, называл места, где теперь реет германский флаг, ставил особенное ударение на том, что слова «Made in Germany» непременно покорят мир. Он не упустил отметить и то, что как бы ни был широк размах всех германских проектов, они все же стоят на твердой почве, так как они «воздвигнуты на фундаменте» милитаризма. Это было по-немецки. И когда мой коллега спросил слушавшего все это и усмехающегося англичанина, что он имеет на это сказать, тот ответил: «Не стоит говорить, но я знаю, что мир принадлежит нам». Это было по-английски.

Это только жанровая картинка, это только моментальный снимок того, как немецкая и английская психика отражались в голове нейтрального государственного человека. Но впечатление это симптоматично, так как оно переживалось в свое время тысячами людей и так как это впечатление от агрессивности германского духа много способствовало катастрофе.

Политика Эренталя, противоположная той, которую до него привыкли наблюдать в нашем министерстве иностранных дел, преследовала империалистические цели с огромной силой и энергией и тем самым еще более усилила общее недоверие к нам. Всюду распространялось мнение, что венская политика есть просто отзвук берлинской, что в Вене так же, как в Берлине, подготовляется война. Общая тревога

усиливалась, тучи становились все мрачнее, петли сети затягивались все плотнее – несчастие было у порога.

Причины мировой войны уходят в глубь времен. Конечный повод ее стирается среди них. В наши дни происходит то же самое. Каков бы ни был последний толчок к новым войнам, настоящие причины их заключены в Версальском и Сен-Жерменском мире.

2

Незадолго до объявления войны мне пришлось быть в Константинополе, где я имел длинный разговор о политическом положении вещей с нашим тамошним посланником, умным и дальновидным графом Паллавичини. Настоящая конъюнктура казалась ему очень серьезной. Он вслушивался в биение пульса Европы, руководимый опытом нескольких десятков лет дипломатической деятельности, и его диагноз гласил, что если только в ближайшем будущем не последует резкого изменения всего курса, то мы идем к войне. Он доказывал, что единственная возможность предотвратить войну с Россией заключается в том, чтобы окончательно отказаться от нашего влияния на Балканах, очистив поле действия для России. Паллавичини не скрывал от себя, что подобное решение было бы равносильно нашему выбытию из числа великих держав, но мне казалось, что лично он предпочитал этот тягостный исход неминуемо надвигавшейся войне. Вскоре после этого я передал этот разговор престолонаследнику, эрцгерцогу Францу-Фердинанду, и заметил, что такое пессимистическое понимание вещей Паллавичини, о котором он, как я и все ближе знавшие этого дипломата, имел очень высокое мнение, произвело на него очень сильное впечатление. Наследник выразил желание при первой же возможности переговорить по данному вопросу с императором.

Больше я его никогда не видел.

Это был наш последний разговор, и я даже знаю, удалось ли ему привести в исполнение намерение обсудить этот вопрос с Францем-Иосифом. Обе балканские войны были зарницами надвигавшейся европейской грозы. Каждому знатоку балканских отношений было ясно, что завершившие их мирные договоры не привели ни к какому определенному результату и что Бухарестский мир, так восторженно отпразднованный в Румынии в 1913 году, был, в сущности, мертворожденным. Униженная, урезанная Болгария, несоразмерно разросшаяся Румыния и в особенности Сербия, преисполненные заносчивости, не поддающейся никакому описанию, Албания, продолжавшая служить яблоком раздора между Австро-Венгрией и Италией, – вот картина, которая предвещала не успокоение, а новую войну.

Надо было пожить на Балканах, чтобы оценить безграничную ненависть, царившую здесь между отдельными национальностями. Когда эта ненависть разразилась мировой войной, то она сказалась в целом ряде ужасающих сцен. Известны случаи, когда пленные болгары были буквально растерзаны румынами, но и болгары, в свою очередь, не оставались в долгу и замучивали до смерти пленных румын самым зверским образом. О том, с какой жестокостью расправлялись с неприятелем сербы, лучше других могут рассказать наши части.

Император Франц-Иосиф предвидел совершенно ясно,

что мир, последовавший за второй балканской войной, представлял из себя не что иное, как передышку перед новой войной. Когда в тринадцатом году, накануне своего отъезда в Бухарест, я имел аудиенцию у старого императора, он сказал мне: «Бухарестский мир непрочен, и мы идем навстречу новой войне. Дай только бог, чтобы она ограничилась Балканами». Сербия расширилась почти вдвое, но была далека от того, чтобы довольствоваться своим новым положением. Наоборот, она больше, чем когда-либо, лелеяла мечты о великодержавности.

Правда, пока еще положение вещей было внешне спокойным. Более того, за несколько недель перед катастрофой в Сараеве создалось настроение, которое можно было отметить почти как улучшение отношений между Веной и Белградом. Но это было затишье перед бурей. Покров разорвался 28 июня, и перед миром тотчас же разверзлась пропасть. Камень покатился, жребий был брошен.

К тому времени я был уже посланником в Румынии и поэтому мог наблюдать берлинские и венские события только издали. Но зато впоследствии я говорил со многими влиятельными лицами о событиях этих критических дней и из всего, что услышал, я мог составить себе вполне определенную и ясную картину происшедшего. Для меня не подлежит никакому сомнению, что Берхтольду даже во сне не снилась мировая война в тех размерах, в каких она разразилась, и что он прежде всего был убежден в том, что война против

Франции и России во всяком случае окончится победой.

Я думаю, что душевное состояние, в котором граф Берхтольд предъявлял ультиматум Сербии, можно отчасти определить следующим образом: или Сербия примет ультиматум (а это означало бы крупный дипломатический успех), или она его отклонит, и тогда война – победоносная благодаря поддержке Германии – поведет к возрождению новой, несравненно сильнейшей, двуединой монархии. Я не хочу оспаривать того, что подобное рассуждение было сплошною цепью ошибок. Я хочу только установить свое убеждение в том, что, предъявляя ультиматум, граф Берхтольд лично не желал войны и что он до последнего момента надеялся, что победа будет одержана пером. В поощрении Германией его политики он усматривал также некоторую гарантию против войны, а ее участники и шансы на победу оценивались им совершенно неверно. За Берхтольдом стояли другие лица, думавшие иначе, но выталкивавшие его вперед: этим объясняется, что поведение его было лишено единства. У Берхтольда очевидно не было сомнения в том, что война с Сербией поведет также и к войне с Россией. По крайней мере, донесения моего брата из Петербурга не оставляли в этом сомнения.

Сербия приняла ультиматум только отчасти, и война с Сербией вспыхнула. Тут же произошло и вооруженное вмешательство России, а одновременно с тем и другие очень важные события. 30 июля, в полдень Чиршки зашел в мини-

стерство иностранных дел и, в исполнение данного ему поручения, сообщил содержание телеграммы, полученной от Лихновского. В этой важной телеграмме было сказано следующее: он – Лихновский – только что от Грея. Последний настроен очень серьезно, но совершенно спокоен, хотя и отмечает, что положение вещей все более осложняется. Сазонов объявил, что после воспоследовавшего объявления войны он лишен возможности непосредственно сообщаться с Австро-Венгрией и просит Англию снова взять на себя посредничество. Предпосылкой переговоров должно явиться прекращение враждебных действий. Грей предлагает посредничество четырех держав. Ему – Грею – казалось бы возможным, чтобы после занятия Белграда Австро-Венгрия предъявила бы свои условия. Частным образом Грей добавлял, что он обращает внимание Лихновского на то, что война между Россией и Австро-Венгрией оставила бы возможность нейтралитета Англии, но что положение изменилось бы в случае, если Германия и Франция также окажутся втянутыми. Также и общественное мнение Англии, которое было очень благоприятно Австрии после убийства, теперь начинает колебаться, так как никто не понимает австрийского упрямства, Лихновский присовокуплял, что итальянскому послу Грей сказал, что, по его мнению, согласие Австрии на посредничество приведет к общему удовлетворению. Сербы во всяком случае будут наказаны. Гарантий на будущее Австрия могла бы тоже добиться и без войны. Таково было содержание до-

несения, переданного Чиршки из Лондона. Бетман прибавлял от себя, что он настоятельно рекомендует венскому кабинету безотлагательно принять посредничество.

Берхтольд принял содержание телеграммы к сведению и отправился с этим известием к императору. Он лично исходил из того, что Россия уже находится в войне с империей, что к вечеру того же дня императору должен быть представлен приказ о всеобщей мобилизации и что, принимая в соображение начавшееся наступление России, возможность отсрочки австрийской мобилизации казалась ему сомнительной. Помимо этого, он, очевидно, должен был еще принять в соображение и то, что в России существовали различные течения и не было никакой гарантии, что восторжествует то, которое желало посредничества. Враждебные действия открылись, по-видимому, без ведома и желания царя, если же, помимо его воли, они теперь стали бы развиваться и дальше, то в таком случае Австро-Венгрия неминуемо должна была бы опоздать.

Мне никогда не пришлось говорить об этих днях с Берхтольдом, но имеющийся у меня под рукой материал не оставляет сомнения, что он чувствовал себя обязанным осветить также и эту сторону вопроса, а затем предоставить решение императору Францу-Иосифу.

31 июля, то есть на следующий же день, Чиршки передал нашему министерству иностранных дел содержание вновь полученной телеграммы короля Георга принцу Генри-

ху Прусскому. Вот она:

> «Благодарю за телеграмму. Очень рад слышать, что Вильгельм старается прийти с Ники к соглашению, относительно мира. Мировая война была бы непоправимым бедствием, и я от души надеюсь, что ее удастся предотвратить. Мое правительство делает все возможное со своей стороны, предлагая и России, и Франции приостановить дальнейшие военные подготовления, если Австрия удовлетворится занятием Белграда и окружающей его сербской территории как залогом для успешного выполнения требований, при условии, что и другие государства тем временем приостановят свои военные подготовления. Надеюсь, Вильгельм употребит все свое влияние, чтобы заставить Австрию принять его предложение и доказать тем самым, что Германия и Англия солидарны в своих усилиях предотвратить международную катастрофу. Передайте, пожалуйста, Вильгельму, что я делаю и буду делать все, что от меня зависит, для сохранения европейского мира.
>
> *Георг».*

31 июля цитированные нами предложения были в Вене приняты – правда, при условии соблюдения некоторых постановлений по военным вопросам, на что Лондон не согласился. А затем началось нагромождение событий.

Как Англия, так и Германия и Австрия хотели локализировать конфликт в Сербии. В России агитировала влиятель-

ная партия, желавшая во что бы то ни стало вызвать войну. Нападение России ставило лицом к лицу с совершившимся фактом, и в последнюю минуту в Австрии побоялись приостановить мобилизацию, дабы не опоздать с обороной. Послы не всегда говорили то, что от них хотело их правительство; они передавали поручения вполне корректно, но если их личное мнение несколько отклонялось от предписанного, то это разногласие ни от кого не оставалось в тайне и также принималось во внимание, а оно только усиливало общую неуверенность и неясность. Берхтольд колебался, его разрывали на части самые противоположные течения. Между тем для решения оставалось всего лишь несколько часов. Они не были использованы – и несчастие разразилось.

Россия создала безвыходное положение и вызвала мировую войну.

Несколько месяцев спустя после начала войны у меня был длинный разговор относительно всех этих вопросов с венгерским министром-президентом графом Стефаном Тиссой. Лично, он, Тисса, в свое время выступал против резкого ультиматума, потому что он предвидел войну и не хотел ее. Существует мнение, что Тисса настаивал на войне, но это лишь одно из обычных и весьма распространенных заблуждений. Он был противником войны – не только принципиально, по складу своего ума, но еще и потому, что считал, что разумная политика союзных договоров может в течение нескольких лет значительно укрепить силы двуединой монархии. Он

особенно часто возвращался к Болгарии, которая тогда ведь была еще нейтральна и которую он хотел склонить на нашу сторону еще до начала войны. От Тиссы я также слышал различные детали о политике германского правительства в связи с деятельностью германского посла.

Я нарочно различаю германское правительство от германского посла – потому что у меня создалось впечатление, что фон Чиршки предпринял ряд шагов, на которые он вовсе не был уполномочен. Если я сказал выше, что не все послы говорили то, что от них хотело их правительство, то я подразумевал при этом именно фон Чиршки, вся индивидуальность, весь темперамент которого толкали его на то, чтобы с большой страстностью, но не всегда с достаточным тактом, вмешиваться в наши дела и вытряхивать из двуединой монархии спячку. Нет никакого сомнения в том, что все частные беседы фон Чиршки сводились в то время к общему мотиву: «Теперь или никогда!» Несомненно, что германский посол толковал свои слова в том смысле, что Германия в данный момент готова поддержать его слова всем своим влиянием и всей своей силой, но что он сомневается в том, что она так поступит и в будущем, если мы проглотим «сербскую пощечину». Мне кажется, что именно фон Чиршки был глубоко убежден в том, что Германии предстоит в самом недалеком будущем пережить войну с Францией и Россией и что он считал 1914 год наиболее благоприятным, во-первых, потому, что он не верил в боевую готовность России и Франции,

а во-вторых, что очень существенно, он считал, что сейчас ему удастся вовлечь и Австро-Венгрию в войну, тогда как при другой конъюнктуре, когда жертвой нападения окажется не сам миролюбивый Франц-Иосиф, он не захочет выступить в интересах одной Германии. Одним словом, он хотел воспользоваться сербским инцидентом, чтобы обеспечить за собой Австро-Венгрию для решительной борьбы. Но это была его политика, а вовсе не Бетмана.

Повторяю – это впечатление длинных рассказов, слышанных мною преимущественно от графа Тиссы, но верность которых мне впоследствии подтверждали и с другой стороны. Я глубоко убежден в том, что тогдашним своим поведением фон Чиршки резко превышал данные ему полномочия. Я заключаю это из того, что, как следует из вышеприведенной телеграммы, фон Чиршки никогда не находил возможным придать воинственный тон официальному заявлению, но в своих личных выступлениях, очевидно, говорил так, как это свойственно дипломатическим представителям, когда они стремятся «исправить» политику своих правительств в направлении, которое им кажется желательным.

Конечно, Чиршки передавал поручения вполне корректно и лояльно, ничего не умалчивая и не скрывая. Но посланник, конечно, может достичь большего или меньшего в зависимости от того, сколько энергии он вложит в дело осуществления замыслов своего правительства. А бывают случаи, когда трудно отделить «частные» взгляды посла от официальных

его заявлений. Во всяком случае, первые безусловно влияют на вторые, а интимное убеждение Чиршки толкало его на более резкий тон.

За несколько дней до ультиматума, находясь в полном неведении относительно готовящихся событий, я прибыл в Штирию, где рассчитывал устроить на лето свою семью. Вызвал меня оттуда Берхтольд с требованием как можно скорее вернуться к своим обязанностям. Я немедленно исполнил это приказание, но до этого еще имел аудиенцию у императора Франца-Иосифа в Ишле. Я нашел императора в очень удрученном состоянии. О предстоящих событиях он говорил только вкратце и лишь спросил меня, могу ли я ручаться за нейтралитет Румынии в случае войны. Я ответил, что отвечаю за это, пока жив король Карл, но прибавил, что дальше этого ставить диагноз нельзя.

3

Некоторые чрезвычайно важные черточки эпохи, непосредственно предшествующей началу войны, объясняются лишь влиянием группы, представителем которой был Чиршки.

Во-первых, остается непонятным, почему мы так облегчили отпадение наших тогдашних союзников – Италии и Румынии; почему мы дали им знать об ультиматуме как о свершившемся факте, вместо того, чтобы делать попытки заручиться их согласием и привлечь и их на нашу сторону.

Относительно хода дел в Италии у меня нет точных данных; но в Румынии король Карл безусловно делал всевозможные попытки склонить Сербию к уступчивости. Вероятно, это ему все равно не удалось бы, потому что сербы и не думали отказаться от своих мечтаний о Великой Сербии – но можно предположить, что эти переговоры ухудшили бы отношения и что это охлаждение сказалось бы в дальнейшем развитии румынской политики.

Это дипломатическое упущение было использовано в Бухаресте как крупнейший капитал. На первом же решающем коронном совете выступил итальянский посол, барон Фассиотти, и заявил, что положение Румынии и Италии идентично и что ни та, ни другая не имеют основания выступать на стороне Австрии, так как ни Рим, ни Бухарест не были

заранее осведомлены об ультиматуме. Его старания возымели успех.

4 августа 1914 года я послал Берхтольду следующую телеграмму:

«Председатель кабинета министров только что сообщил мне результат коронного совета.

Выслушав горячий призыв короля к исполнению союзных обязательств, коронный совет постановил всеми голосами против одного, что ни одна партия не может взять на себя ответственность за такое выступление.

Коронный совет постановил: ввиду того что Румыния не была предупреждена о политическом шаге, предпринятом Австро-Венгрией в Сербии, и что вопрос об этом с ней не обсуждался, casus foederis[2] отсутствует. Коронный совет затем постановил предпринять некоторые военные продвижения для обеспечения границ, отмечая, что они представят собою выгоду для Австро-Венгрии, потому что дадут прикрытие ее границам на протяжении нескольких сот миль.

Председатель кабинета министров прибавил, что он даже отдал приказ об усилении кадров, за которым постепенно последует общая мобилизация.

Правительство намерено опубликовать лишь краткое сообщение о намеченных военных мероприятиях для укрепления границ».

---

[2] Casus foederis (*лат.*), казус федерис – исполнение обязательств в рамках союзнического договора, или коллективная самооборона. – *Примеч. ред.*

Во-вторых, остается непонятной самая форма ультиматума. Она объясняется не стремлением Берхтольда к войне, а деятельностью других элементов, и в первую очередь Чиршки. В 1870 году Бисмарк хотел войны – но тогдашняя депеша была совершенно иного покроя. Я хочу сказать, что остается непонятным, почему был избран текст, который должен был оттолкнуть многих, в сущности, склонных относиться к нам благоприятно.

Если бы после убийства эрцгерцога мы познакомили великие державы, настроенные к нам отнюдь не враждебно, и в первую очередь Англию, с ультиматумом и дали бы им тем временем секретные доказательства того, что убийство это политическое и инсценировано в Белграде, то нам удалось бы создать вокруг английского правительства совершенно иную атмосферу. Вместо этого ультиматум упал как снег на голову и английскому правительству, и всей Европе.

Министерство иностранных дел, вероятно, боялось, что предварительное оповещение держав вызовет интервенцию в форме новой «конференции послов» и что убийство будет предано забвению. Но события 1914 года были совершенно непохожи на прежние – до представления ультиматума право, безусловно, было на нашей стороне.

Группа Чиршки во всяком случае убоялась разжиженного разрешения вопроса и потому стремилась к вызывающим поступкам. В 1870 году Бисмарк нападал, но ему удалось спутать роли. Нам это тоже удалось, но только в обратном

смысле.

4

А затем случилось самое большое наше несчастие – немецкое вторжение в Бельгию.

Если бы Англия оставалась нейтральной, то мы бы не потерпели поражения. В своей книге «Причины и начало мировой войны» Ягов рассказывает, что 4 августа к концу заседания рейхстага к нему заезжал английский посол и опять поставил вопрос, будет ли Германия соблюдать нейтралитет Бельгии. В действительности в этот момент германские войска уже стояли на бельгийской территории. Узнав об этом, посол удалился, но через несколько часов вернулся и потребовал, чтобы ему не позже двенадцати часов ночи дано было разъяснение в том смысле, что дальнейшее продвижение германских войск приостанавливается, в противном случае ему предписано взять свои верительные грамоты обратно, так как Англия будет охранять Бельгию. Германия ответила отказом. За ним последовало объявление Англией войны.

Заявление, сделанное Англией Бельгии в тот же день и гласящее, что она будет противиться нарушению ее нейтралитета «всеми своими силами», таким образом, вполне соответствует выступлению в Берлине английского посла.

Правда, за два дня до этого, 2 августа, английский кабинет заверил французское правительство, что, помимо охраны бельгийского нейтралитета, он потребует еще и отказа

от морских действий против Франции. Противоречие между этими двумя точками зрения очевидно. Но мне кажется, что оно объясняется лишь тем, что 4 августа Англия отказалась от требования, выставленного 2-го, потому что если бы Германия приняла английский ультиматум от 4 августа, то у Англии была бы отнята моральная возможность выставлять дальнейшие требования. Если бы 4 августа Англия искала предлога к войне, то, помимо требования о Бельгии, она выставила бы также и вопрос об отказе от морских действий. Между тем она этого не сделала, а ограничила свой ультиматум бельгийским вопросом – и тем самым связала себе руки на случай, если Германия открыто примет ультиматум. 4-го августа от 9 до 12 часов ночи решение вопроса о нейтралитете Англии находилось в руках Германии.

Германия решила нарушить бельгийский нейтралитет, несмотря на уверенность, что нарушение это заставит Англию выступить. Это была первая роковая победа представителей военной партии над дипломатами. Потому что зачинщиками были, конечно, первые. Идея германских генералов заключалась в том, чтобы раздавить Францию, а затем наброситься всеми силами на Россию. Этот план потерпел крушение на Марне.

Наследие Бисмарка оказалось во многих отношениях пагубным для политики Германии. Дело было не только в том, что завоевание Эльзас-Лотарингии определенно мешало дружбе с Францией и постоянно толкало последнюю

во все антигерманские коалиции. Наследие Бисмарка стало проклятием Германии, потому что немцы хотели идти по его следам, а среди них не было никого, равного ему по гению. Бисмарк создал германскую империю в Дюппеле, под Садовой и в Седане. Его политика была политикой крови и железа – и эта политика силы засела, как евангелие дипломатического искусства, в голове каждого немецкого гимназиста. Но Бисмарк не мог завещать германскому народу всю гениальную гибкость своего ума и свою осторожность в применении этих сильных средств. Войны 1866 и 1870 годов были подготовлены им весьма тщательно, и он наносил удары лишь тогда, когда в руках его были прекрасные карты. Германия Вильгельма II не хотела войны; но она бросилась в нее внезапно, очертя голову и с первой же недели создала политическую ситуацию, на которую ее тогда уже не хватало. С Бельгией и Люксембургом она поступила по бисмарковскому принципу «сила предшествует праву» – и вооружила весь мир против себя. Я говорю «весь мир», потому что влияние Англии охватывало его целиком.

В начале войны Англия не была вооружена. Было бы совершенно в духе ее традиционной политики предоставить Германии борьбу с Францией и Россией – а самой наблюдать за их взаимным истреблением, чтобы затем в известный момент выступить посредником. Это помешало бы войне достигнуть таких грандиозных размеров, но Германия явно рассчитывала укрепить за собой Бельгию и тем побудила

Англию немедленно вмешаться. В настоящее время остается невыясненным, насколько германское вторжение в Бельгию морально оправдывается тем, что оно просто опередило аналогичный замысел французов, но что касается Люксембурга, то этот аргумент в любом случае несостоятелен, а правонарушение не изменяется в зависимости от величины государства, против которого оно направлено.

Вторжение в Бельгию и Люксембург можно понимать как бисмарковскую политику насилия, но выполненную не государственными деятелями, а генералами, без высших соображений Бисмарка о ее возможных опустошительных последствиях.

Впоследствии, в течение войны, германское высшее командование часто прибегало к насильственным приемам, которые приносили нам больше вреда, нежели пользы, но тогда уже средства эти могли найти себе оправдание и объяснение, они иногда бывали даже вынуждены тем, что Германия боролась за свое существование, а неприятель не желал идти на соглашение и не давал возможности выбирать средства. Применение ядовитых газов, воздушные налеты на безоружные города – все это было отчаянными мерами, вызванными безжалостностью врага, обрекавшего немецких женщин и детей на голодную смерть и ежедневно повторявшего, что Германия должна быть уничтожена.

В момент объявления войны этих факторов не было, и только вторжение в нейтральные области породило атмосфе-

ру страшной ненависти и мстительности, которая и довела борьбу до войны на уничтожение.

Политика Англии в отношении Наполеона I также развивалась скорее на дипломатическом, чем на военном поприще; и все говорит за то, что Англия первоначально не имела намерения вмешиваться в конфликт, а удовлетворилась бы тем, что Германия постепенно бы ослаблялась и помимо нее.

Поскольку ныне я в состоянии окинуть взором общее положение того момента, то считаю, что наши послы в Лондоне неповинны в неверной оценке английской психологии. Они предсказывали и предостерегали вполне правильно, а последнее решение насчет вышеупомянутого английского ультиматума последовало в Берлине, а не в Лондоне. Да и германское министерство иностранных дел никогда не пошло бы добровольно на такой насильственный шаг, если бы не военная партия, которая не интересовалась ни дипломатическими сообщениями, ни политическими осложнениями и бросилась в пропасть очертя голову.

Конечно, в военное время всегда исключительно трудно разграничить политическую сферу деятельности от военной. Обе они так часто сливаются, что образуют одно целое, и вполне естественно, что военные требования получают тогда преобладание. Но крутой переход от равенства к строгому подчинению, осуществленный в Германии и выражавшийся в том, что высшее верховное командование постепенно захватывало всю государственную власть, был большим несча-

стьем. Если бы хоть часть этой власти была предоставлена политическим деятелям Берлина, то ни вторжение в Бельгию, ни обострение подводной войны не были бы допущены – а эти два ограничения спасли бы Центральные державы.

С первого же дня войны император Вильгельм был в плену у своих генералов.

Слепая вера в непобедимость германской армии была, как и многое другое, наследием Бисмарка, а «прусский лейтенант, которому нет равного в мире», стал для Германии роковым. Весь германский народ верил в победу, и если представить себе на минуту императора, который при таких условиях захотел бы идти против своих генералов, то ему пришлось бы взять на себя ответственность, воистину превышающую нормальную человеческую силу.

Итак, император Вильгельм согласился на все, что хотели его генералы, – и вначале казалось, что их тактика увенчается успехом. Первая битва при Марне выручила Антанту. Впоследствии, когда боевые действия приняли уже совершенно иной характер, когда позиционная война прикрепила войска к определенному месту, а перед нами вставали все новые враги, когда на сцену постепенно вышли Италия, Румыния и, наконец, Америка, – германские генералы действительно проявили чудеса стратегии. Гинденбург и Людендорф стали кумирами германского народа, внимание всей Германии было устремлено только на них, и только от них ждала она победы. Они были гораздо могущественнее императора,

и он оказался совершенно не в состоянии противодействовать им.

В 1917 году во время попыток к мирным переговорам, о которых будет речь ниже, оба генерала извлекали почти безграничную меру своей власти непосредственно от Антанты. Ведь она не оставляла германскому народу сомнения в том, что он должен победить или умереть, и запуганный и измученный народ обращался с последним упованием к тем, от кого ждал победы.

5

Пока война шла полным ходом, сепаратный мир Австрии, предоставляющий Австрию ее собственной судьбе, был бы предательством. Если бы шаги к миру не увенчались успехом из-за германских претензий, то мы имели бы моральное право разойтись с ней, потому что мы были связаны с нею в целях не наступательной, а оборонительной войны. Хотя германские генералы всегда мечтали и говорили о завоеваниях, а их идеология ясно доказывала, что они не понимают общего положения, она все же не была единственной помехой к миру. Помеха заключалась скорее в том, что Антанта решила ни в коем случае не щадить Германию. Эта мысль была уже высказана мною в речи от 11 декабря 1918 года, когда, рассматривая политику мировой войны, я сказал:

«Людендорф был поразительно похож на государственных деятелей Англии и Франции; он, подобно им, не хотел компромисса, а только победы – в этом отношении между ними не было никакой разницы».

Все время, пока я состоял на службе, Антанта отказывалась видеть в Германии равную сторону и тем самым определенно навязывала нам оборонительную войну. Если бы наши частные попытки увенчались успехом и нам удалось бы заставить Антанту сказать это спасительное слово, если бы нам удалось склонить Антанту к миру с Германией на осно-

вах status quo, то понятие о связывающем нас нравственном долге отпало бы само собой.

Против этого можно возразить, что salus rei publicae suprema lex[3], то есть, что для спасения Австро-Венгрии надо было бросить Германию; в ответ на это необходимо осветить другой вопрос, была ли, вообще говоря, налицо физическая возможность сепаратного мира. Об этом я также говорил в вышеупомянутой речи, заявив тогда совершенно определенно, – и сегодня ни одного своего слова не беру обратно, – что по вступлении в войну Англии, затем Италии, Румынии и, наконец, Америки, я считал идею нашей «победной войны» утопией. Но до последних дней моей службы и даже после того, как я вышел в отставку, я надеялся на компромиссный мир. С месяца на месяц, с недели на неделю, наконец, со дня на день я лелеял надежду, что события сложатся так, что дадут нам возможность добиться такого мира, хотя бы он стоил многих жертв.

Того конца, который в действительности наступил, того состояния, до которого мы сегодня дошли, я не предвидел, да и никто не предвидел размеров грядущего бедствия. В своих опасениях и мыслях я не доходил до катастрофы, такой громадной и такой глубокой. Заявление, сделанное мною императору Карлу в 1917 году, ставшее общеизвестным из вышеупомянутой моей речи и впоследствии пере-

---

[3] «Salus populi suprema lex esto» (*лат.*). – «Да будет благо народа высшим законом» (Цицерон).

печатанное, оканчивалось словами: «Победный мир немыслим, мы должны стремиться к миру компромиссному, хотя бы он и стоил жертв». Это убеждение внушило императору проект отдать Галицию Польше, то есть косвенно Германии, а также пустило в ход и все щупальца, протянутые к Антанте и долженствовавшие показать, что мы готовы к приемлемым жертвам.

Но всем было ясно, что Антанта решила рвать тело Австро-Венгрии на клочья, и это решение касалось как компромиссного, так и сепаратного мира, – уже потому, что оно соответствовало постановлениям Лондонского соглашения от 26 апреля 1915 года.

Постановления этой конференции, подготовившие почву для вступления Италии в войну, были решающими для дальнейшего хода войны, поскольку целью их было разложение Австро-Венгрии, и поэтому они навязывали нам оборонительную войну до конца. Мне кажется, что впоследствии – в те дни, когда военное счастье как будто склонилось к нам, – в Лондоне и Париже сожалели об этих постановлениях, потому что они отнимали возможность сближения с нами, а оно тогда считалось отчасти желательным.

Уже в 1915 году мы получили смутные сведения о содержании этих лондонских постановлений, хранившихся в строгой тайне, но точный текст мы их узнали лишь в феврале 1917 года, когда революционное русское правительство опубликовало их протокол, перепечатанный затем и в наших

газетах.

По этому соглашению, обязывающему четыре державы, Англию, Францию, Россию и Италию, Италия должна была получить весь Южный Тироль до Бреннера, Триест, Герц, Градиску, всю Истрию, ряд островов, Далмацию и т. д. Затем Антанта связала себя во время войны также и с Румынией, и с Сербией и тем самым привела к разложению Австро-Венгрии.

Я нарочно остановился на всем этом, чтобы объяснить, почему сепаратный мир стал для нас физической невозможностью, другими словами, какие причины мешали нам закончить войну и сделаться «нейтральными». Эти причины фактически раскрывали перед нами только одну возможность, а именно – возможность переменить неприятеля и вместо того, чтобы воевать с Германией против Антанты, отныне воевать с Антантой против Германии. Необходимо прежде всего запомнить, что до последнего времени перед моей отставкой австро-венгерские и германские войска на Западном фронте были перемешаны и вся армия находилась под высшим германским командованием. На востоке у нас не было собственной армии в точном смысле этого слова; она влилась в германскую. Это было следствием нашей военной слабости по сравнению с Германией. Мы постоянно нуждались в ее помощи. Мы много раз взывали о ней в Сербии, Румынии, России и Италии, и нам всегда приходилось покупать эту поддержку частью нашей независимости. Явная слабость

нашей армии отнюдь не была виной отдельных солдат, а скорей продуктом всех условий государственного строя Австро-Венгрии. Она была плохо снаряжена и вступила в войну с очень незначительной артиллерией; виноваты в этом ряд военных министров и парламенты. Венгерский парламент душил армию в течение долгих лет из-за того, что его национальные вожделения оставались в загоне, а австрийские социал-демократы всех оттенков выступали против обороны, потому что видели в ней не оборонительные, а наступательные планы.

В некоторых отношениях наш главный штаб был совсем плох. Исключения бывали, но они только подтверждали точность правила. Во-первых, недоставало контакта с воинскими частями. Штабные чины сидели в тылу и отдавали приказы, солдат на фронте почти никогда не видел их вообще – а тем более там, где свистят пули. За время войны войска научились ненавидеть Генеральный штаб.

В германской армии дело обстояло иначе. Германский Генеральный штаб требовал много, но и многое давал; во-первых он рисковал собою и подавал пример. Людендорф взял Льеж с шашкой в руках, во главе небольшого отряда! Затем у нас первые места были заняты эрцгерцогами, совершенно не подходившими к своей роли. Эрцгерцог Фридрих-Евгений и Иосиф составляли исключение. Первый очень верно понимал свое положение и являлся не командующим боевыми операциями, а связывающим звеном между нами и Гер-

манией, с одной стороны, и между армией и императором Францем-Иосифом – с другой. Он всегда выступал с выдающимся тактом и корректностью, и ему удавалось устранить многие осложнения. А после Луцка мы утеряли почти весь последний остаток нашей независимости.

Итак, чтобы вернуться к вышесказанному: отданный нашим войскам на Восточном фронте приказ сложить оружие или оставить фронт, несомненно, вызвал бы военные трения на самом фронте. Имея в виду все решительное противодействие, которое германское командование безусловно оказало бы такому приказу, следует ожидать, что приказы из Вены и противоположные приказы из Берлина вызвали бы полную дезорганизацию и даже анархию.

Мирный и бескровный уход с фронта был, по глубокому моему убеждению, немыслимым. Я говорю это для того, чтобы объяснить свою уверенность: представление о том, будто такое разъединение обеих армий могло пройти с общего согласия, покоится на совершенно неверных предпосылках. Уже из одного указанного факта видно, почему мы не могли закончить войну сепаратным миром, не ввязавшись тем самым в новую войну. Картина, разыгравшаяся на фронте, повторилась бы в тылу в еще более густых красках – гражданская война была бы неминуема.

Я хочу здесь выяснить также и второе недоразумение, также порожденное моей цитированной выше речью от 11 декабря и коренящееся в следующем выражении: «Если бы

мы вышли из ряда воющих держав, то Германия не могла бы больше продолжать войну». Это выражение – я согласен, что оно не ясно, – было истолковано в том смысле, будто я хотел сказать, что если бы мы ушли с фронта, то падение Германии было бы неизбежно. Этого я никогда не хотел сказать, не говорил и не думал. Я только хотел сказать, что наше отпадение от Германии лишило бы ее возможности довести войну до победоносного окончания или хотя бы даже до успешного продолжения ее. Иными словами, такой факт поставил бы Германию перед альтернативой: или подчиниться предписанию Антанты, или применить все крайние средства для подавления Австро-Венгрии, то есть уготовить ей участь, аналогичную участи Румынии. Я хотел сказать, что если бы Австро-Венгрия пустила на свою территорию войска Антанты, то она явилась бы для Германии такой ужасной опасностью, что последняя была бы вынуждена сделать все от нее зависящее, чтобы перегнать нас и парализовать такой шаг с нашей стороны. И тот, кто думает, что германские генералы не сумели бы этого сделать, тот плохо их знает и очень неверно оценивает их психологию.

Для беспристрастной оценки моих слов необходимо мысленно перенестись в дух того времени. В апреле 1918 года, когда на основании совершенно других причин я подал в отставку, уверенность Германии в победе была сильнее, чем когда-либо. С Восточным фронтом было покончено. Россия и Румыния вышли из строя, войска стремились на Запад, и

всякий, знакомый с тогдашним положением, согласится со мною в том, что в этот момент германские генералы были более чем когда-либо уверены в победе. Они были убеждены, что возьмут Париж и Кале и поставят Антанту на колени перед собой. Поэтому совершенно немыслимо, чтобы в такой момент и при таких условиях они бы ответили на отторжение Австро-Венгрии иначе, как отказом.

Что же до тех, кого моя аргументация не удовлетворяет, то я обращаю их внимание на факт, доказательность которого бросается в глаза: ведь полгода спустя, когда падение Германии было уже совершенно несомненно и когда Андраши пошел на сепаратный мир, немцы ведь бросили свои войска на Тироль. Если и тогда, в состоянии полного истощения, уже побитые и уничтоженные, с революцией в собственном тылу, они все же попытались перенести войну на австрийскую территорию, то насколько более вероятно, что они осуществили бы свое намерение шестью месяцами раньше, когда были ещё полны сил, а их генералы мечтали о победах и триумфах.

Итак, второе, что я хотел констатировать: сепаратный мир имел бы своим непосредственным следствием войну на территории Австро-Венгрии, Тироль и Чехия стали бы театром военных действий – это было бы совершенно неизбежно.

Если в настоящее время раздаются голоса, утверждающие, что большая усталость от войны, охватившая всю Австро-Венгрию еще до апреля 1918 года, заставила бы все на-

селение объединиться вокруг любого министра, который заключил бы сепаратный мир, то – сознательно или нет – они искажают правду. Несомненно, что чехи были против Германии и что не симпатия к бывшим союзникам помешала бы им дать свое согласие. Но я хотел бы знать, что сказал бы чешский народ, если бы Чехия стала театром военных действий и если бы к страданиям, которые этот народ переносил наряду с другими, присоединилось бы еще и опустошение их родины? Ведь не было сомнения в том, что германские войска, напавшие со стороны Саксонии, вошли бы в Прагу и продвинулись бы и дальше, с развевающимися знаменами. В Чехии у нас не было никаких сил, мы были совершенно не в состоянии поддерживать их там, и, прежде, чем мы или Антанта успели бы перебросить в северную Чехию хоть сколько-нибудь войск, германцы направили бы против нас (или против Антанты, стоящей на нашей территории) войска, почерпнутые из их почти неисчерпаемых резервов. Австрийские же немцы вообще не сочувствовали бы такому министру с самого начала, и уж, конечно, он не нашел бы поддержки ни в немецкой национальной партии, ни в немецкой буржуазии.

28 октября немецкая национальная партия (австрийских немцев) опубликовала следующее заявление, выражающее ее единодушную точку зрения:

«Члены немецкой национальной партии глубоко возмущены ответом графа Андраши на ноту Вильсона. Граф

Андраши перед тем, как составить ноту, не вошел в соглашение ни с германским имперским правительством, ни с представителями исполнительного комитета немецких австрийцев. Хотя мы горячо приветствуем мирные переговоры и считаем их необходимыми, но одностороннее выступление графа Андраши, выразившееся в том, что он отправил ноту Вильсону, не заручившись на то согласием Германской империи, вызывает глубочайшее возмущение немецких партий. Всего лишь несколько дней тому назад представители исполнительного комитета немецких австрийцев были в Берлине, где германское имперское правительство пошло им навстречу по вопросу о снабжении немецкой Австрии. Несмотря на то что как в альпийских областях, так и на Карпатах германские солдаты воевали рядом с нашими, германской армии ныне нанесено оскорбление. Из ноты явствует, что обращение к Вильсону сделано помимо империи. Кроме того, не было сделано никаких попыток прийти к предварительному соглашению с представителями нашего исполнительного комитета; нота Вильсона была послана помимо их ведома. Немецкая национальная партия выражает свое резкое несогласие с таким совершенно недопустимым поведением и будет настаивать перед исполнительным комитетом на сохранении за немецкой Австрией права на самоопределение и на заключение мира по соглашению с германской империей».

Но и немецкие австрийцы – социал-демократы отказались бы следовать такой перемене политики.

Утверждать, что национальное собрание или австрийские социал-демократы давали свое согласие и поддерживали такую политику – значит, сознательно искажать факт. Я опять напоминаю дни Андраши.

30 октября национальное собрание получило извещение о предпринятом шаге. Доклад был сделан доктором Сильвестром, закончившим следующим образом:

«Все же не было никакой необходимости и остается недопустимым предпринимать эту попытку таким образом, чтобы она создавала непроходимую пропасть между немецкой Австрией и Германской империей. Такое расхождение может явиться серьезной опасностью для нашего будущего. Национальное собрание немецкой Австрии устанавливает, что нота имперского министра иностранных дел президенту Вильсону от 27 октября была составлена и отправлена без предварительного соглашения с представителями германо-австрийского народа. Национальное собрание особенно настойчиво останавливается на таком поведении, потому что та нация, к которой принадлежит министр иностранных дел, определенно отклоняет солидарные выступления. Национальное собрание заявляет, что оно одно правомочно выступать от имени немецких австрийцев во всех делах внешней политики, а в особенности при мирных переговорах».

Это «предостережение» не вызвало никаких пререканий в Национальном собрании. Вслед за докладчиком выступил социал-демократ доктор Элленбоген, который заявил:

«Вместо того чтобы теперь сказать германскому императору, что его дальнейшее пребывание на троне является главной помехой к миру (громкие аплодисменты социал-демократов) и что если прыжок Курция мог когда-либо иметь смысл, то это применимо в данный момент к германскому императору, ради спасения его народа, – коалиционное правительство избирает именно это время для отпадения от Германии и наносит тем самым удар в спину германской демократии. Время, когда правительство могло поставить себе заключение мира в заслугу, уже прошло. Теперь остается место лишь хладнокровному, позорному предательству, названному знаменитым немецким поэтом «благодарностью австрийского дома» (аплодисменты на скамьях социал-демократов и немецких радикалов).

Эта речь цитирована мною из «Рабочей газеты» от 31 октября 1918 года. Впервые за эту войну нападки на сепаратный мир послужили стимулом объединения социал-демократов и немецких радикалов.

Если такое объединение могло быть осуществлено в момент, когда уже было ясно, что компромиссный мир по соглашению с Германией невозможен, то, я спрашиваю, что бы случилось в то время, когда факт этот еще не был осознан преобладающим большинством населения, когда отнюдь не было точно известно и, во всяком случае, еще не доказано математически, что мы не добьемся со временем приемлемого компромиссного мира, включающего и Германию? Рас-

падение фронта, борьба всех против всех на фронте, Австро-Венгрия – театр военных действий, гражданская война внутри, вот каков был бы результат сепаратного мира. И все это для того, чтобы, в конце концов, облегчить проведение лондонских постановлений за наш счет.

Далее я покажу, что Антанта от этих постановлений никогда не отказывалась, что она была связана Италией, а Италия не допускала и мысли о пересмотре их. Такая политика была бы просто самоубийством, вызванным страхом смерти.

В 1917 году мне пришлось однажды обсуждать весь этот вопрос с доктором Виктором Адлером. Я изложил ему свои взгляды на те последствия, которые можно ожидать от сепаратного мира. Доктор Адлер ответил мне: «Ради бога, не бросайте нас в войну с Германией!» А после вторжения баварских войск в Тироль (Адлер был уже тогда государственным секретарем по иностранным делам) он напомнил мне тот разговор и прибавил: «Катастрофа, о которой мы тогда говорили, разразилась. Тироль станет театром военных действий».

Вся Австрия жаждала мира, но никто не хотел новой войны, а сепаратный мир дал бы не мир, а лишь войну с Германией.

В Венгрии власть Стефана Тиссы была почти безгранична, он был гораздо сильнее, чем весь кабинет Векерле, взятый вместе. Применительно к Венгрии сепаратный мир также означал бы осуществление обещаний, данных Антан-

той, то есть отказ от крупнейших и богатейших областей на севере и на юге в пользу чехов, румын и сербов. А кто же станет серьезно утверждать, что в 1917 году Венгрия не оказала бы отчаянного сопротивления такой жертве? Всякий, отдающий себе отчет в положении вещей, должен сознаться, что, узнав о таких требованиях, вся Венгрия пошла бы за Тиссой на ожесточенную борьбу против Вены.

Вскоре после моего назначения министром я имел с Тиссой первый очень важный разговор о германском вопросе в связи с вопросом мира. Тисса заявил: с Германией трудно иметь дело, она эгоистична и деспотична, но без нее мы не можем прекратить войну. Проект отдачи венгерской территории (Семиградии), так же как и идея о навязанной извне внутренней реформе Венгрии, благоприятной населяющим ее народностям, не подлежат обсуждению. Лондонская конференция 1915 года пришла к совершенно безумным постановлениям, которые никогда не будут выполнены, но упорное стремление Антанты к уничтожению Германии и Австрии может быть разбито только силой. Вот почему мы должны в любом случае придерживаться Германии. В Венгрии наблюдаются очень различные течения, но если только станет известным, что Вена собирается пожертвовать отдельными частями Венгрии, то она вся восстанет против этого, как один человек. В этом смысле между ним, Тиссой, и Карольи никакой разницы нет. Тисса напомнил позицию, занятую Карольи перед объявлением Румынией войны, при-

бавил, что он выражает взгляды всего парламента, и настаивал на том, что «если предполагается заключить мир за счет Венгрии, то Венгрия отделится от Австрии и будет действовать самостоятельно».

Я ответил, что дело не идет ни о разрыве с Германией, ни об отдаче венгерской территории, но что мы должны наконец выяснить себе, что нам делать, если завоевательные планы Германии будут завлекать нас все дальше.

На это Тисса ответил, что вопрос надо ставить иначе: что именно постановлено на Лондонской конференции, остается точно неизвестным (протокол тогда еще не был опубликован), но факт, что Румынии обещана венгерская территория, остается несомненным, – так же, как и то, что Антанта наметила вмешательство во внутренние дела Венгрии; между тем оба эти положения неприемлемы. Если Антанта гарантирует Венгрии status quo и оставит всякую идею о вмешательстве, то положение меняется. Но до тех пор он лично будет высказываться против всякой попытки к миру.

Затем наш разговор принял более резкий тон, особенно когда на мои упреки, что он, Тисса, рассматривает всю политику с венгерской точки зрения (чего он, впрочем, и не отрицал), он ответил (тоже довольно верно):

«Это потому, что условия мира Антанты представляются такими, что они от Австрии оставят еще меньше, чем от Венгрии. Пусть я сначала узнаю, каковы условия, на которых мы могли бы заключить мир, – тогда только выяснится, сле-

дует ли прибегать к крайнему давлению на Германию. Ведь раз Германия решила продолжать борьбу, то убеждать ее заключить мир будет совершенно бесплодно. Германия борется прежде всего за целостность Австрии, которая погибнет в тот же момент, когда Германия сложит оружие. Важно не то, что говорят те или иные германские политические деятели или генералы: пока Лондон настаивает на том, чтобы удовлетворить своих союзников за счет нашей территории, Германия остается единственным оплотом против таких проектов».

Затем Тисса заявил, что он не стремится к завоеваниям, кроме разве некоторых пограничных укреплений против Румынии, и что он безусловно против слияния с нами новых государств (Польши); оно явилось бы, по его мнению, лишь ослаблением, а не усилением Венгрии.

В результате долгого совещания мы пришли к соглашению относительно следующей тактики:

1. Пока постановления Лондонской конференции (то есть раздел Австро-Венгрии) остаются в силе в глазах Антанты, необходимо продолжать борьбу в твердой надежде сломить ее насильнические стремления.

2. Так как война эта только оборонительная, то она не будет ни в коем случае продолжена ради завоевательных целей.

3. Необходимо избегать всякой видимости ослабления наших союзных отношений.

4. Уступки венгерской территории не могут быть сделаны

без ведома председателя венгерского кабинета министров.

5. Если австрийский кабинет войдет в соглашение с министром иностранных дел относительно отказа от какой-либо австрийской области, то председатель венгерского кабинета министров противоречить не будет.

Поскольку речь шла о Лондонской конференции и крушении монархии, Тисса был совершенно прав; он оставался на своей точке зрения до конца, что доказал и во время своего последнего посещения югославян, совершенного по поручению императора непосредственно перед падением Австрии, когда он выступал решительным противником югославянских претензий.

Оглядываясь теперь назад, беспристрастный наблюдатель не должен рассматривать все случившееся как заранее предвиденные события. Наоборот, он должен помнить, что, несмотря на весь пессимизм и на все опасения, надежда на компромиссный мир, хотя бы и требующий жертв, но все же приемлемый, была тогда еще жива, и что тогда не было физической возможности толкать двуединую монархию на катастрофу из одного лишь страха, что катастрофа эта неминуема.

Вспоминая то время, теперь часто говорят, что все население двуединой монархии и, в частности, социал-демократы были готовы на все возможности вплоть до сепаратного мира. Но я еще раз решительно утверждаю, что это совершенно неверно. Я напоминаю, что как германская, так и наша соци-

ал-демократия, то есть та партия, которая резче всех высказывалась за мир, несколько раз определенно заявляла, что и ее желание мира имеет границы. Германские социал-демократы никогда не примирялись с тем, что Эльзас-Лотарингия должна быть отдана, а наши никогда не соглашались на отказ от Триеста, Боцена и Мерана. Между тем мир – и даже сепаратный мир – мог быть куплен лишь ценой таких уступок, – потому что Лондонская конференция, которая, как мы говорили, относится еще к 1915 году, приняла на себя обязательство по расчленению двуединой монархии в пользу Италии.

Следовательно, распадение Австро-Венгрии было неминуемо, даже если бы мы и порвали с Германией. Мы не могли ожидать спасения от временного смятения в рядах Антанты, потому что итальянцы, румыны и сербы получили слишком определенные гарантии, что их требования будут выполнены. Сепаратный мир не спас бы двуединую монархию от распада, а немецкая Австрия в том виде, в каком она сейчас существует, была все равно предопределена; и я сомневаюсь, что роль, которую при этом пришлось бы сыграть Австро-Венгрии, особенно рекомендовала бы ее вниманию Антанты. Я отсылаю к роли, сыгранной австрийской социал-демократией в вопросе о солидарности с Германией: она являлась постоянной поборницей объединения с Германией, и ее печать повторяла ежедневно, что материальные выгоды, которые Антанта может предложить немецкой Австрии, не из-

менят такого убеждения.

Каково же было положение еще в марте, незадолго до моей отставки? Германия достигла апогея своих успехов. Я не хочу сказать, что эти успехи были реальны. В данной плоскости важно не это – а то, что немцы были в этом убеждены. Им казалось, что они вплотную подошли к победоносному финалу, что после ликвидации Восточного фронта они бросят все свои силы на Западный фронт и что война кончится прежде, чем Америка успеет «прийти». Расчет этот был неверен. Это мы все сейчас знаем. Но был он наиболее характерным выражением общей психологии германского народа, и все решения, которые Германия приняла бы против отпавшей от нее Австро-Венгрии, исходили бы из этой уверенности в победе.

В выше цитированной речи о внешней политике от 11 декабря я уже говорил о том, что ни Антанта, ни Германия не соглашались на какие-либо жертвы, нужные для мира. С тех пор я имел случай говорить с различными влиятельными представителями Антанты, и на основании всех полученных мною сведений должен сформулировать упомянутую фразу еще более резко: я твердо убежден, что Антанта, и в первую очередь Англия, по крайней мере с лета 1917 года твердо решила уничтожить Германию.

Далее я остановлюсь на конъюнктуре, наступившей летом 1917 года. С этого момента Англия, очевидно, решилась не вступать ни в какие переговоры с Германией и не влагать

оружие в ножны, пока Германия не будет повержена к ее ногам. И она вложила в свое решение упорство, составляющее основную черту ее характера. Но это ничуть не изменило того факта, что германские военные сферы, исходя из совершенно иных побуждений, а именно из громадной переоценки своих шансов на победу, всегда противились всем попыткам к миру, требующему от нее жертв, – даже в то время, когда он еще был мыслим.

Этот факт несомненен, но для соблюдения точной истины я должен сказать, что сомневаюсь, что позднейшие уступки изменили бы судьбу Германии. В 1917 году и даже еще в 1918-м мы могли перейти на сторону неприятеля, мы могли бороться против Германии и вместе с Антантой на австро-венгерской территории. Падение Германии в таком случае, конечно, произошло бы много раньше, но раны, нанесенные при этом Австрии, были бы не меньше, чем те, которые она перетерпела теперь, – она погибла бы в борьбе против Германии так же, как погибла в общей с ней борьбе.

Час Австро-Венгрии пробил. Те немногие государственные деятели, которые летом 1914 года стремились к войне – как, например, Чиршки и Белинский, боявшийся за судьбы Боснии, – конечно, раскаялись и пересмотрели свои взгляды всего несколько месяцев спустя. Ведь и они не верили в мировую войну. Несмотря на это, мне теперь кажется, что распадение двуединой империи наступило бы и помимо этой войны и что сараевское убийство было бы и при дру-

гих условиях сигналом к катастрофе. Наследный эрцгерцог стал жертвой великосербских чаяний; эти чаяния, включавшие в себя отторжение наших югославянских провинций, не замерли бы, если бы Австро-Венгрия перешла бы от убийства к порядку дня. Напротив, они от этого только усилились бы и укрепили бы центробежные силы других народностей, входящих в нее.

Огонь выстрелов в Сараеве, точно молния в темную ночь, на мгновение осветил грядущий путь. Стало ясно, что дан сигнал к распадению монархии. Сараевские колокола, забившие тревогу тотчас после убийства, были похоронным звоном монархии.

Сознание, что сараевское дело имеет значение не только как убийство принца императорского дома и его супруги, а что оно означало так же и начало разрушения Габсбургской империи, было тогда очень распространено во всем населении Австрии, и в частности Вены. Мне рассказывали, что со дня убийства и вплоть до объявления войны в венских ресторанах и народных садах происходили ежедневно воинственные демонстрации, неслись патриотические и антисербские песни и раздавались нападки на Берхтольда за то, что он не предпринимает энергичных шагов. Такое настроение, конечно, не может служить оправданием для ошибок ответственных лиц: государственный деятель не должен поддаваться влиянию уличных лозунгов, но оно все же показывает, что выше отмеченные мысли были чрезвычайно распространены

в 1914 году. И да позволено мне будет отметить, как много таких, которые тогда призывали к войне, мести и «энергии», теперь, когда опыт совершенно не удался, осуждают и клеймят позором предательское поведение Берхтольда.

Конечно, нельзя сказать, в какую форму вылился бы распад монархии, если бы удалось избежать войны. Но он, несомненно, был бы менее ужасен. Процесс, вероятно, протекал бы более медлительно и не увлек бы за собой всего мира.

Мы были обречены на гибель и должны были умереть. Но род смерти мы могли выбрать, и мы выбрали самую ужасную смерть. Сами того не зная, мы с началом войны потеряли нашу самостоятельность. Из субъекта мы превратились в объект. Но раз эта несчастная война началась, мы не могли ее остановить: Лондонская конференция вынесла смертный приговор над империей Габсбургов, и сепаратный мир не принес бы нам смерти слаще, чем выдержка и верность в рядах наших союзников.

II. Конопишт

Неуравновешенная натура Франца-Фердинанда. – Парк в Конопиште. – Недостаток ораторского таланта. – Ожесточение. – Антипатия против всего венгерского. – Против раболепства и лицемерия. – Франц-Фердинанд и Эренталь. – Проект Великой Австрии. – Отношения с Францем-Иосифом. – Сближение с императором Вильгельмом. – Престолонаследник не подстрекал к войне. – Герцогиня фон Гогенберн. – Личное бесстрашие. – Крупные достоинства. – Старый император. – Смерть Франца-Фердинанда. – Намечавшееся преобразование монархии. – Войско и флот. Союз трех императоров против революции. – Отношение к сербам скорее доброжелательно, чем враждебно. – Против теснейшего сближения с Германией.

1

Конопишт породил много разных легенд. Владелец этого замка был первой жертвой страшного мирового пожарища, и поведение его в годы, предшествующие войне, подвергалось многочисленным и отчасти неверным толкованиям.

Натура престолонаследника была крайне своеобразна. Главной чертой его характера была крайняя неровность. Он редко шел по среднему пути и так же горячо ненавидел, как и любил. Он выделялся решительно во всем, он ничего не делал, как другие люди, и все, за что он брался, вырастало до сверхъестественных размеров. Его страсть покупать и коллекционировать древности была анекдотична и действительно фантастична. Он был чудесный стрелок, но охоту он признавал лишь в грандиозных масштабах, и дичи он перебил не менее ста тысяч штук. За несколько лет до смерти он закончил пятую тысячу убитых им оленей.

Его искусство стрелять в цель как дробью, так и пулями, было совершенно невероятно. Путешествуя вокруг света, он встретил в Индии у какого-то магараджи стрелка-профессионала. Гости задумали кидать монеты вверх, и профессионал сбивал их. Эрцгерцог также попробовал и побил индуса. При стрельбе он пренебрегал всеми современными усовершенствованными приспособлениями, вроде винтовки, снабженной подзорной трубой, – он всегда стрелял из двухствольной

винтовки, и его исключительно дальнозоркие глаза вполне заменяли ему подзорную трубу.

Художественный вкус к планировке парков привел его в последние годы его жизни к развитию главной его страсти: в Конопиште он знал каждое дерево и куст, а больше всего он любил свои цветы. Он был сам своим садовником. Все грядки были засажены по его точным указаниям. Он знал условия, нужные каждому отдельному растению, разбирался в почве, полезной им, и частые изменения или нововведения проводились лишь на основании его точных предписаний. Здесь все происходило в гигантском масштабе; вероятно, деньги, ухлопанные на этот парк, были огромны.

Художественное чутье эрцгерцога было во многих отношениях исключительным: ни одному антиквару не удалось продать ему современное произведение за старинное; вкуса у него было не меньше, чем понимания. Зато музыка была для него неприятным шумом, а поэтов он от души презирал. Он терпеть не мог Вагнера и был вполне равнодушен к Гете. Он был также неспособен к языкам – французским языком владел весьма посредственно, а помимо него, в сущности, не знал ни одного языка; по-итальянски и по-чешски он успел лишь кое-что перехватить.

До конца жизни он годами с железной энергией мучил себя изучением венгерского, при нем постоянно находился священник, у которого он брал уроки венгерского. Этот учитель сопутствовал ему в его путешествиях, и, например, в

Сен-Морице Франц-Фердинанд ежедневно занимался венгерским. Несмотря на это, он постоянно страдал от сознания, что ему никогда этому языку не научиться; неудовольствие, связанное с изучением его, он переносил на весь венгерский народ. «Они мне антипатичны хотя бы просто из-за языка», – вот слова, которые я часто от него слышал. Суждения Франца-Фердинанда о людях были также несдержанны: он мог только любить или ненавидеть – а число лиц, принадлежащих ко второй категории, к сожалению, значительно превышало первое.

Во всем образе мышления Франца-Фердинанда было что-то жесткое, а для всех тех, кто его мало знал, эта жесткость была самой приметной чертой его характера. Она, несомненно, была причиной его широкой непопулярности.

Многие совершенно исключительные свойства эрцгерцога были обществу неизвестны, и поэтому о нем часто судили неверно.

Резкость эта не была в нем природной. Он в молодости страдал легкими, и врачи от него почти что отказались. Он мне сам часто рассказывал об этом – и обо всем, что перестрадал за это время; при этом всегда с большой горечью вспоминая о тех, кто тогда без всяких церемоний перестали считаться с ним. Пока в нем видели престолонаследника и связывали с ним будущее, он был центром общего внимания. Когда же он заболел (и казалось, неизлечимо), весь свет от него моментально отвернулся и перенес все свои вернопод-

даннические чувства на его младшего брата Отто.

Я не сомневаюсь в том, что в этих рассказах покойного эрцгерцога было много правды; да и всякий, кто знает свет, не может не относиться скептически к жалкому и низкому эгоизму, который почти всегда служит подкладкой почитания высокопоставленных лиц. Озлобление затаилось в сердце Франца-Фердинанда глубже, чем у многих других, и он никогда не простил свету всего того, что ему пришлось пережить и перенести в эти тяжелые месяцы. Больше всего его оскорбила внезапная перемена в отношениях к нему графа Голуховского, тогдашнего министра иностранных дел – потому что до тех пор он думал, что Голуховский питает к нему личную симпатию. По словам эрцгерцога, Голуховский говорил императору Францу-Иосифу, что необходимо перевести подобающий престолонаследнику придворный штат на эрцгерцога Отто, так как он, Франц-Фердинанд, все равно пропал.

Не столько постановка вопроса, сколько тот способ действия, которым Голуховский «заживо похоронил» его, расстроил и обидел эрцгерцога, и так уже раздраженного болезнью. Но, помимо Голуховского, он не мог простить многим другим, обидевшим его в то время, и беспримерное презрение к людям, которое, когда я с ним познакомился, было характернейшей чертой его натуры, очевидно, зародилось и развилось в годы болезни.

Это разочарование оказало глубокое влияние на весь

строй его мыслей и в политическом отношении. Мне рассказывал человек, сам при этом присутствовавший, что эрцгерцог как-то, в самую тяжелую пору его болезни, прочел в венгерской газете статью, где о будущем правлении его говорилось как о вопросе поконченном, и в чрезвычайно грубых и насмешливых выражениях. Читая эти рассуждения, эрцгерцог побледнел от злобы и возмущения, помолчал, а потом у него вырвались характерные слова: «Я должен выздороветь. Теперь я буду жить только ради здоровья, я хочу поправиться, чтобы показать им, что они слишком рано радуются».

Эти личные переживания, хотя и не были, конечно, единственной причиной его сильной антипатии против всего венгерского, все же имели значение для его миросозерцания. Эрцгерцог отлично умел ненавидеть, он нелегко забывал – и горе тем, кого он преследовал своей ненавистью.

С другой стороны, у него был уголок в сердце – мало кому известный, но чрезвычайно ценный: он был идеальным мужем, прекрасным отцом и верным другом. Но число тех, кого он презирал, было несравненно большим, и он сам отдавал себе полный отчет в том, что он – одна из самых непопулярных личностей Австрийской монархии. В этом презрении к популярности было все же заложено и некоторое величие духа. Он никогда не мог заставить себя пойти навстречу какой-нибудь газете или другому органу, направляющему общественное мнение. Он был слишком горд, чтобы искать популярности, и слишком презирал человечество, чтобы счи-

таться с его мнением.

Отвращение к венграм проходит красной нитью через все политическое миросозерцание эрцгерцога. Мне рассказывали, что в эпоху, когда принц Рудольф часто охотился в Венгрии, эрцгерцог также часто принимал участие в этих охотах, и что венграм доставляло удовольствие высмеивать молодого эрцгерцога в присутствии и на радость кронпринца, который был значительно старше его. Я охотно верю, что такие шутки занимали кронпринца Рудольфам, и не сомневаюсь, что нашлись люди, готовые задеть эту струну, лишь бы заслужить его расположение, но все же мне кажется, что эти впечатления имели меньше значения, чем вышеупомянутые переживания во время его болезни.

Помимо этих личных антипатий, которые эрцгерцог переносил с нескольких отдельных венгров на всю нацию, оппозицию эрцгерцога к Венгрии подкреплял ряд глубоко обоснованных политических причин. У Франца-Фердинанда было чрезвычайно тонкое политическое чутье. И это чутье подсказывало ему, что венгерская политика – серьезная опасность для всей Габсбургской империи. Желание сломить власть мадьяр и помочь другим национальностям сравняться с ними в правах никогда не покидало его. Он все политические дилеммы и акты рассматривал с этой точки зрения. Эрцгерцог был постоянным апологетом румын, словаков и всех прочих национальностей, проживающих в Венгрии, и в этом смысле заходил так далеко, что готов был дать

каждому вопросу антимадьярское разрешение, не вдаваясь в объективное рассмотрение его по существу. Эта его привычка, разумеется, не оставалась тайной в Венгрии и вызвала у венгерских правящих классов сильную реакцию, которую он опять-таки понимал как чисто личную, направленную непосредственно против него. Такие взаимоотношения с годами автоматически усиливали существующие разногласия, а при Тиссе привели к открытой вражде.

К другим лидерам Венгрии, и в частности к одной из наиболее выдающихся фигур того времени, эрцгерцог относился с еще более сильной антипатией, чем к Тиссе. Я не знаю в точности, что между ними произошло, но мне известно, что за много лет до катастрофы у этого господина была аудиенция в Бельведере и что она во всяком случае протекла весьма неблагополучно. Эрцгерцог рассказал мне, что этот господин принес с собою целую библиотеку, чтобы доказать, что по закону мадьярская точка зрения правильная. Но ему, эрцгерцогу, наплевать на эти законы, и он ему так и сказал. Они сильно поспорили, и господин вышел от него бледный как смерть.

Несомненно, что министры и прочие чиновники редко входили к эрцгерцогу без сердцебиения; он был способен так набрасываться на своих собеседников и пугать их, что они совершенно теряли голову. Страх их он часто принимал за упрямство и пассивное сопротивление и тогда становился еще более раздраженным.

С другой стороны, если знать его хорошо и не давать себя застращать, можно было чрезвычайно легко обезоружить эрцгерцога. У меня с ним было множество сцен, и я притом сам бывал чрезвычайно резок, но длительного охлаждения к себе я никогда не вызывал. Как-то вечером, после обеда в Конопиште, он мне устроил сцену за то, что я постоянно иду против него, эрцгерцога, и на его дружбу отвечаю предательством. Я прекратил разговор, заявив, что раз он так говорит, то из нашего дальнейшего разговора толку выйти не может, а помимо того, я завтра утром уезжаю. Мы расстались, не пожелав друг другу «спокойной ночи». Утром, – я еще был в постели, – он пришел ко мне в комнату и просил меня забыть, что он вчера говорил, так как это было сказано не всерьез и т. д., так что у меня совершенно пропало твердое намерение уехать.

Он так презирал людей, и опыт так обострил его понимание, что не поддавался ни на раболепство, ни на лесть. Он выслушивал всех, но как часто затем говорил мне: «С ним делать нечего, это пресмыкающееся». И эти слова приканчивали людей в его глазах так, что он впоследствии совершенно не доверял им. Более кого-либо из великих мира сего он был неуязвим против яда холопства, заражающего в большей или меньшей мере всех монархов.

Кроме семьи, в тесном смысле этого слова, его лучшими любимыми друзьями были его зять Альбрехт Вюртембергский и князь Карл Шварценберг.

Первый был человек обаятельный, высокой интеллигентности, знающий толк в вопросах как политических, так и военных. С Францем-Фердинандом он жил на чисто братской ноге, и, само собой разумеется, на принципах полного равенства. Карл Шварценберг был самый откровенный, честный и прямой человек, которого я когда-либо встречал. Он был богат, независим, преисполнен чувства собственного достоинства и лично совершенно не самолюбив. Он нисколько не был заинтересован в том, нравятся ли эрцгерцогу его взгляды. Он был его другом и считал своим долгом быть с ним откровенным и честным, а если нужно, то даже и резким. Эрцгерцог понимал это и уважал своего друга. Я думаю, что немного на свете монархов или престолонаследников, которые стали бы сносить манеру Шварценберга.

Очень плохими были отношения Франца-Фердинанда с Эренталем. Эренталь был также довольно резок и суров, но все же причина холодности между ними была другая. Мне кажется, что все упреки, которые эрцгерцог обращал на Эренталя, все же не вытекали из политических или программных разногласий: престолонаследника постоянно раздражал тон Эренталя. Мне приходилось читать письма Эренталя к эрцгерцогу, в которых, при всей внешней почтительности, был слышен какой-то привкус, быть может, бессознательной иронии, вызывавшей в эрцгерцоге чувство, что его не принимают всерьез. А он в этом отношении был чрезвычайно чувствителен.

Эрцгерцог очень недружелюбно выражался об Эрентале даже во время болезни последнего и вызвал тогда всеобщее возмущение бесчувственностью своих слов об умирающем деятеле. Он присутствовал при выносе тела как представитель императора, после чего принял меня в Бельведере. Мы стояли во дворе, когда мимо нас прошла похоронная процессия. Эрцгерцог быстрым шагом прошел в один из соседних маленьких флигелей, с окнами на улицу, и здесь, спрятанный за занавеской, наблюдал за проходящей процессией. Он не проронил ни слова, но глаза его были полны слез. Когда он сообразил, что я заметил его волнение, он быстро и нехотя отвернулся, раздраженный тем, что явно выказал слабость. В этом был весь он. Ему приятнее было, чтобы его считали суровым и бессердечным, чем мягкотелым и слабым, и ему была невыносима мысль, что его могли заподозрить в желании устроить трогательную сцену. Я не сомневаюсь, что в ту минуту он страдал от самобичевания, и страдал больше, чем другой на его месте, менее замкнутый в себе и способный дать своим чувствам более свободный выход.

Эрцгерцог мог быть очень веселым и имел исключительное чувство юмора. Он мог иногда смеяться как беззаботный мальчик и увлекал всех окружающих своим искренним весельем.

Как-то приехал в Вену немецкий принц, не различающий многочисленных эрцгерцогов и путающий их. В честь его в Гофбурге был дан обед, за которым он сидел рядом с Фран-

цем-Фердинандом. На следующий день намечалась охота в сопровождении эрцгерцога. За столом германский принц, очевидно принявший своего соседа за кого-то другого, сказал ему: «Завтра я должен ехать на охоту, но, говорят, со скучным Францем-Фердинандом. Надеюсь, что это еще изменится». Если не ошибаюсь, охота не состоялась вовсе, и мне неизвестно, понял ли принц впоследствии свою ошибку, но эрцгерцога она еще долго забавляла.

Эрцгерцог часто доброжелательно отзывался о своем племяннике, будущем императоре Карле. Но отношения между ними определялись безусловным повиновением племянника дяде. На политических совещаниях эрцгерцогу Карлу всегда выпадала роль слушателя, следящего за соображениями Франца-Фердинанда. Брак Карла встретил полное одобрение его дяди, и герцогиня Гогенберг также очень любила молодую чету.

Эрцгерцог был принципиальный сторонник великоавстрийской программы. Его идея заключалась в том, чтобы разложить монархию на более или менее самостоятельные национальные государства, объединенные центральным аппаратом, функционирующим в Вене и приспособленным к разрешению важнейших насущных вопросов: то есть, другими словами, он хотел заменить дуализм федерализмом. В наши дни, когда в результате страшных потрясений войны и революции развитие бывшей монархии пошло именно по национальным руслам, никто больше не оспаривает эту идею

как утопию. Но в те времена она имела сильных противников, которые отговаривали от разрушения государства ради созидания на место его чего-то совсем нового и вряд ли лучшего. К тому же император Франц-Иосиф был слишком консервативен и слишком стар, чтобы вдаваться в рассмотрение взглядов своего племянника. Его отношение к наследнику, решительное отклонение хода мышления эрцгерцога оскорбляло последнего, и он часто с горечью жаловался на то, что он у императора значит не больше «последнего лакея в Шенбрунне».

Эрцгерцог был совершенно лишен таланта обращения с людьми. Он не мог и не хотел себя переделывать. Он мог быть очень обаятельным, когда проявлял свою натуральную сердечность, но ему никогда не удавалось скрыть, что он рассержен или расстроен, и этим объясняется то, что его отношения к старому императору становились все хуже и хуже. Вина за такое нежелательное отношение между императором и престолонаследником, конечно, была обоюдная.

Точка зрения старого императора: «Покуда я правлю, никому вмешиваться не позволю», наталкивалась на резко противоположную ей идею эрцгерцога: «Мне когда-нибудь придется отвечать за ошибки, совершенные теперь», – а всякий знакомый с придворной жизнью знает, что такие разногласия всегда приводят к особенному напряжению. При каждом дворе находятся люди, стремящиеся заслужить доверие своего покровителя тем, что подливают масла в огонь и разду-

вают всякого рода скандалы и сплетни. Так было и в данном случае, и вместо того, чтобы сближаться, император и эрцгерцог все больше отделялись друг от друга.

У эрцгерцога было мало друзей, а среди монархов почти что ни одного. Это была одна из причин его сближения с императором Вильгельмом. В сущности, они были очень не похожи друг на друга; они были люди настолько разные, что о настоящей дружбе между ними, о подлинном понимании друг друга не могло быть и речи – да о нем и не было речи. Обоим были присущи ярко выраженные самодержавные теории, но сходство между ними этим почти исчерпывалось. Публичные выступления императора Вильгельма были эрцгерцогу всегда неприятны, а его явное стремление к популярности просто непонятно. Со своей стороны, за последние годы император Вильгельм безусловно гораздо сильнее привязался к эрцгерцогу, чем раньше. Хуже были отношения эрцгерцога к германскому кронпринцу. Они провели вместе несколько недель в Сен-Морице, в Швейцарии, но нисколько не сблизились, что отчасти объяснялось большой разницей в годах и несравненно более сложным миросозерцанием эрцгерцога.

Уединенность, замкнутость, в которых жил эрцгерцог, незначительное общение с широкими кругами общества, порождали вокруг него, помимо верных, также и множество ложных слухов. По одному из них, который с большой устойчивостью продержался и до наших дней, эрцгерцог был

«подстрекателем войны», и война будто бы являлась необходимой комбинацией в его планах на будущее. Этот слух совершенно ложен. Хотя эрцгерцог мне этого прямо не говорил никогда, но я все же убежден, что он инстинктом чувствовал, что монархия не выдержит страшного испытания войной и что он не только не подстрекал к ней, но, напротив, действовал в прямо противоположном смысле.

Я вспоминаю очень симптоматичный эпизод: не помню точно числа, но это было незадолго до смерти эрцгерцога, когда одна из очередных балканских смут взволновала всю монархию и выдвинула вопрос о мобилизации. Я находился случайно тогда в Вене, где имел разговор с Берхтольдом, очень озабоченным общим положением и жалующимся на то, что эрцгерцог, очевидно, высказывается в духе воинственности. Я предложил обратить внимание эрцгерцога на опасность такого поведения и сговорился с ним по телеграфу, что в тот же день сяду в его поезд в Вессели – станции, где он должен был остановиться по дороге в Конопишт.

Времени у меня было мало, только на перегон между двумя станциями; поэтому я сейчас же взял быка за рога: рассказал эрцгерцогу о слухах, которые ходят о нем в Вене, и высказался в том смысле, что слишком резкая политика на Балканах может вызвать конфликт с Россией. Эрцгерцог мне нисколько не возражал, со свойственной ему распорядительностью он тут же в поезде написал Берхтольду телеграмму, вполне одобряющую примирительную политику и опровер-

гающую слухи об его агрессивности.

Несомненная правда, что некоторые представители военной партии, желавшие войны, использовали эрцгерцога или, вернее, злоупотребляли им, чтобы вести от его имени военную пропаганду, и что они таким образом вызывали совершенно ложное суждение об этом человеке. Многие из них погибли на войне смертью героев, другие ныне исчезли и забыты. Но среди тех, кто прятался за эрцгерцогом, никогда не было начальника Генерального штаба Конрада. Этот никого не выдвигал перед собой. Он самолично и открыто защищал перед всеми то, что считал необходимым.

В связи с этими слухами об эрцгерцоге следует упомянуть любопытную подробность. Как сам эрцгерцог мне рассказывал, одна прорицательница предсказала ему, что он станет причиной войны. Хотя такое пророчество до некоторой степени и льстило ему, так как оно подразумевало, что миру придется считаться с ним как с важным фактором, он все же определенно напирал на то, до чего это пророчество бессмысленно. Но пророчество это впоследствии оправдалось, хотя и совсем не так, как оно было понято. Ни один государь в мире не был столь неповинен в кровопролитии, как несчастная жертва в Сараеве.

Эрцгерцог очень сильно страдал от условий, явившихся следствием его неравного брака. Горячая и преданная любовь его к жене возбуждала в нем постоянное желание сделать ее своей вполне официально узаконенной супругой, и

отпор, встреченный им в придворном церемониале, безгранично раздражал и озлоблял его. Эрцгерцог твердо решил, что немедленно по вступлении на престол он даст своей жене если не титул императрицы, то во всяком случае, такое положение, которое и помимо него открыло бы ей первое место. Желание свое он мотивировал тем, что она должна быть хозяйкой всюду, где и он, а хозяйке всегда надлежит быть на первом месте.

Но у эрцгерцога никогда и мысли не было изменить порядок престолонаследия и поставить своего сына на место эрцгерцога Карла. Напротив, он уже давно решил издать по вступлении на престол торжественное заявление, в котором эта его точка зрения была бы закреплена, дабы разом опровергнуть ложные и тенденциозные сообщения, постоянно всплывающие по этому поводу. Он нежно любил своих детей, но для них он желал лишь независимой комфортабельной жизни, возможности наслаждаться существованием без всяких материальных забот. Для старшего сына он мечтал о титуле герцога фон Гогенберг, так что император Карл действовал согласно его желанию, даровав его впоследствии молодому человеку.

Красивой чертой эрцгерцога было его бесстрашие. Он отчетливо понимал, что над ним всегда висит опасность покушения, и часто и безо всякой позы высказывался о такой возможности. За год до начала войны он сообщил мне, что масоны решили его убить. Он сообщил мне также название

города, где это решение было принято – я его сейчас забыл, – и называл имена разных австрийских и венгерских деятелей, которые должны быть осведомлены на этот счет. Он также охотно рассказывал, как, кажется при коронации испанского короля, его поместили в одном поезде с каким-то русским великим князем, и что перед самой отправкой было получено сообщение, что великий князь должен быть убит в пути. Он не отрицает, что вошел в свой вагон с несколько смешанными чувствами.

Другой раз в Сен-Морице ему было сообщено, что в Швейцарию прибыли два турецких анархиста, положивших его убить, что полиция прилагает все усилия, чтобы схватить их, но что до сих пор на их след не напали и что ему рекомендуют быть осторожным. Эрцгерцог показал мне тогда телеграмму с этими данными. Он не выказал при этом ни малейшей паники, с усмешкой отложил депешу, заметив, что, по его мнению, покушения с предупреждениями редко удаются. Но герцогиня зато очень страдала от страха за его жизнь и, мне кажется, что бедная женщина сотни раз предвидела катастрофу, жертвой которой они с мужем в конце концов пали.

Со стороны эрцгерцога было также очень красиво, что из деликатности к жене и ее вечным страхам он терпел вокруг себя постоянное присутствие сыщиков, хотя считал, что оно было и скучно, и смешно. Он боялся, что этот факт может вызвать упрек в трусости, и соглашался иметь их всюду за

собой только затем, чтобы хоть несколько успокоить ее.

Но он почти что со страхом скрывал все свои хорошие свойства и с каким-то вызовом старался казаться жестким и неприятным. Я не хочу оправдывать некоторые его особенности. Нельзя отрицать в нем ярко выраженного эгоизма и той жестокости, которые отнимали у него интерес к чужим страданиям, за исключением тех, кто был ему лично близок. Его ненавидели также за его строгие финансовые мероприятия и за беспощадность к подчиненным, за которыми была замечена малейшая провинность. Анекдотов по этому поводу существуют сотни – и правдивых, и выдуманных. Вполне понятно, что эта мелочность очень вредила ему в общественном мнении и что действительно прекрасные и мужественные стороны его души оставались публике неизвестными и поэтому никогда не бывали ему зачтены. Для тех же, кто его знал, они во сто крат покрывали дурные.

Император был всегда очень озабочен планами эрцгерцога на будущее. Характер императора был также тверд, и в интересах монархии он боялся и горячности, и упрямства своего племянника, но при этом часто выказывал истинное величие духа. Покойный председатель министров граф Штюргк рассказывал мне следующие подробности моего назначения в верхнюю палату, которые, как мне кажется, очень характерны для старого императора. Моя кандидатура в верхнюю палату была выставлена по желанию Франца-Фердинанда, который хотел провести мое откомандирование в одно из

наших посольств с тем, чтобы я прошел хорошую школу в области внешней политики. Следует при этом упомянуть, что старому императору со многих сторон нашептывали, что друзья и доверенные эрцгерцога работают в духе, противоположном ему, императору; а он, очевидно, до некоторой степени верил этой версии – особенно ввиду многочисленных его конфликтов с Францем-Фердинандом. Когда фон Штюргк назвал меня как кандидата в верхнюю палату, император с минуту помолчал, а затем ответил: «Ведь это тот, кто по моей смерти должен стать министром иностранных дел. Да, пускай он войдет в верхнюю палату, чтобы еще поучиться».

Такой ход мысли и такие душевные движения несомненно свидетельствуют о подлинном величии.

Общеполитические разговоры с императором Францем-Иосифом бывали часто затруднительны, потому что он строго придерживался ведомственных интересов и говорил с каждым лишь о том, что его непосредственно касалось. Когда я был послом, император говорил со мной о Румынии и Балканах, но больше ни о чем. Между тем самые разнообразные вопросы между собой часто связаны так тесно, что разграничение немыслимо. Я вспоминаю аудиенцию, в которой излагал старому императору румынские проекты более тесного сближения с монархией, – проекты, на которых я остановлюсь в одной из дальнейших глав этой книги. Конечно, я должен был говорить о том, как Румыния представля-

ет себе объединение с Венгрией и какие изменения венгерской конституции были бы для этого необходимы. Император прервал меня, заявив, что это вопрос, касающийся внутренней политики Венгрии.

Старый император был обыкновенно очень доброжелателен и ласков и всегда озадачивал своим знанием малейших деталей. Так, о министрах всевозможных румынских ведомств он не говорил «министр земледелия» или «торговли», а всегда называл их по имени и никогда не ошибался. В последний раз я видел его по моем окончательном возвращении из Румынии в октябре 1916 года. Я нашел его тогда все еще вполне на высоте его умственных способностей, хотя физически он был очень слаб. Император Франц-Иосиф был большим барином в подлинном смысле этого слова. Он был императором. Подойти к нему близко было невозможно. Всякий, кто уходил от него, оставался под впечатлением, что он только что стоял перед императором. Он стоял высоко над всеми монархами по той величественности, с которой выражал идею монархии.

Он был положен в гроб в дни крупных военных успехов Центральных держав. Теперь Франц-Иосиф покоится в императорской усыпальнице, но со времени его смерти как будто уже протекло столетие. Мир изменился. Поток людей проходит день за днем мимо маленькой церкви, но едва ли кто вспоминает того, кто лежит там всеми забытый, – хотя он символизировал собою Австрию в течение многих десятиле-

тий. Ведь он был единственным лицом, объединяющим все более и более разваливающееся государство. Он отдыхает там от всех своих огорчений и забот: он видел, как умирали его жена, сын и друзья, но судьба по крайней мере уберегла его от зрелища умирания его империи.

Итак, Франц-Фердинанд имел характер строго отточенный, с большими угловатостями и странностями; беспристрастный наблюдатель не станет отрицать, что у него было много дурных сторон, но он был человеком недюжинным.

Как бы ни были потрясающи обстоятельства, при которых он погиб, быть может, они для него все же явились счастьем. Трудно представить себе, чтобы, вступив на престол, эрцгерцог мог бы провести в жизнь свои идеи и примирить всех с собою. Здание монархии, которое он хотел подпереть и укрепить, было до такой степени шатким, что уже не могло вынести солидной перестройки. Если бы война не разрушила его извне, революция, вероятно, расшатала бы его изнутри – больной едва ли был в состоянии вынести операцию. С другой стороны, ввиду страстности и импульсивности характера эрцгерцога не подлежит сомнению, что он сделал бы попытки изменить самые основы монархии. Но нам кажется, – хотя доказать верность этого убеждения теперь уже невозможно, – что таковой опыт не удался бы и что он сам погиб бы под развалинами монархии.

Конечно, теперь уже бесцельно строить гипотезы относительно позиции, на которую эрцгерцог стал бы, если бы он

пережил войну и свержение монархии. Мне кажется, что в двух отношениях он отклонился бы от того курса, который был взят после него. Во-первых, он бы ни за что не согласился на то, чтобы наша армия попала под полную опеку Германии. Такое подчиненное положение решительно противоречило бы его ярко выраженным самодержавным убеждениям, и он был слишком развит политически, чтобы не понять, что оно лишает нас всякой свободы действия. Во-вторых, в противоположность императору Карлу он не смирился бы перед революцией. Он собрал бы вокруг себя своих верных и пал бы вместе с ними с оружием в руках; он пал бы так же, как пал крупнейший и опаснейший из его врагов – Стефан Тисса.

Но ведь он и умер на поле чести первым – как герой, на своем посту. Золотые лучи мученичества окружили его смерть. Многие из малых и самых малых мира сего вздохнули свободно, когда узнали о его смерти. При дворе в Вене и в общественных кругах Будапешта было больше довольных, чем огорченных; многие из сановников были затронуты в своем эгоизме; они верно предчувствовали, что при нем основательная чистка среди них неминуема. Они только не предчувствовали, что он своей силой увлечет их в своем падении и что разразившаяся мировая катастрофа поглотит всех.

2

В монархических кругах того времени царило совершенно ложное убеждение, что у эрцгерцога подробно разработана программа будущей деятельности. На самом деле это было не так. Эрцгерцог придерживался определенных и очень ярко выраженных принципов, на основании которых он рассчитывал произвести реформу монархии, но это были лишь общие директивы; я бы сказал, это была программа, подробности которой оставались нетронутыми.

Эрцгерцог находился в общении со специалистами всевозможных ведомств, он развивал свою программу будущего как близко к нему стоящим политическим деятелям, так и выдающимся военным специалистам, но до действительно разработанной программы дело не дошло. Основным мотивом его программы было, как мы указывали выше, видоизменение монархии в федеративное государство. Он не успел определить для себя, на сколько областей должна разделиться Габсбургская монархия, но принцип перестройки монархии, как он его понимал, зиждился на национальном базисе. Исходя из мысли, что предпосылкой ее расцвета является ослабление мадьярского влияния, эрцгерцог стремился даровать как можно больше преимуществ народностям, населяющим Венгрию, – и в первую очередь румынам. Но моя командировка в Румынию и мои отчеты подействовали на

эрцгерцога в том смысле, чтобы уступить Румынии Семиградию лишь в случае, если эта вновь испеченная Великая Румыния вольется в Габсбургскую империю.

В Австрии он мыслил германское, чешское, югославянское и польское государства, которые должны были стать в некоторых отношениях автономными, а в других зависящими от центра в Вене. Но, как я уже говорил, насколько мне известно, его программа не была ни вполне установлена, ни ясно выяснена; и различные изменения ее, к которым он сам лично приходил, были весьма значительны.

У эрцгерцога была сильная антипатия к немцам – и в особенности к немецким уроженцам северной Чехии, являвшимся приверженцами пангерманской идеи; деятельности депутата Шонерера он, например, никогда не простил. Безусловными любимцами его были немцы альпийских провинций Австрии. Все миросозерцание Франца-Фердинанда ближе всего подходило к христианским социалистам. Люгер был его политическим идеалом. Люгер был уж серьезно болен, когда эрцгерцог сказал мне: «Сохранил бы нам бог этого человека, лучший председатель министров немыслим». Очень ярко выражено было его желание строжайшей централизации армии. Он был сильнейшим противником мадьярских стремлений к независимой венгерской армии, и вопросы об официальных воинских эмблемах, языке команд и другие аналогичные не могли быть разрешены при его жизни, потому что он решительно противодействовал всякому выдви-

жению венгров.

К флоту эрцгерцог питал особо нежные чувства. Его частое пребывание в Брюнне сблизило его с нашим морским делом, и он был преисполнен желания поднять флот и сделать его подлинно великодержавным.

В отношении внешней политики эрцгерцог всегда придерживался идеи союза трех империй. Очевидно, он видел в трех монархах Петербурга, Берлина и Вены, тогда столь могущественных, лучшую опору против революции, твердыню, которую могли бы воздвигнуть их объединенные усилия. Он считал, что соперничество Вены и Петербурга на Балканах является большой опасностью для дружеских отношений между Россией и нами, и именно потому, в противоположность распространяемым о нем слухам, он был скорее покровителем, а вовсе не противником сербов.

Он стоял за сербов уже потому, что считал, что мелочная мадьярская аграрная политика представляет собою главную причину вечных неудовольствий сербов. Во-вторых, он стоял за то, чтобы пойти навстречу сербам, потому что ощущал сербский вопрос как помеху в отношениях Вены и Петербурга, а в-третьих, потому, что и по личным причинам, и по существу дела он не был другом царя Фердинанда Болгарского, а политика последнего была направлена против сербов. Мне кажется, что если бы те, кто подослал убийц эрцгерцога, знали бы, до чего он был далек от тех взглядов, из-за которых его убили, они бы отказались от этого убийства.

У Франца-Фердинанда было очень сильно стремление сохранить независимость двуединой империи и ограничить в этом смысле все ее союзы. Он был противником еще более тесного сближения с Германией, он не хотел сближаться с ней за счет России, и идея, выраженная впоследствии в понятии «Центральных держав», была всегда чужда его желаниям и стремлениям.

Его проекты были не разработаны, не закончены и полны пробелов, но в них имелось здоровое начало. Конечно, этого совершенно недостаточно, чтобы утверждать, что их проведение удалось бы. Увы, при известных обстоятельствах одна энергия без необходимой выдержки может принести больше вреда, чем пользы.

III. Вильгельм II

Божьей милостью. – Кризис 1908 года. – Вильгельм II и Чернин в 1917 и 1918 годах. – Вера императора Карла в свою популярность. – Византинизм. – Император Карл и Конрад. – Вторичное назначение Иосифа-Фердинанда. – Император Вильгельм во время кильской недели. – Его подлинная природа. Трагедия его жизни. Его позиция до мировой войны. – В момент объявления войны. – Колебания в определении целей войны. – В 1917 году кронпринц был пацифистом. – Поездка на Западный фронт. – Письмо императора Карла кронпринцу о территориальных жертвах в Эльзас-Лотарингии, об отказе Австрии от Галиции и присоединении Польши к Германии. – Людендорф о миролюбивом кронпринце. – Железная воля Людендорфа.

1

Император Вильгельм так долго стоял непосредственно в центре мировых событий, о нем настолько много писалось, что личность его кажется достаточно ярко очерченной. И все же, по-моему, о нем часто судили неверно.

Всем известно, что красная нить, проходившая через характер и весь образ мышления Вильгельма II, заключалась в его твердом убеждении, что он император «божьей милостью» и что «династические чувства германского народа неискоренимы». Бисмарк также верил в династические чувства немцев. Но мне представляется, что разговоры об общединастическом народном сознании так же необоснованны, как аналогичные суждения о республиканских убеждениях целой нации. В действительности в народах наблюдается лишь чувство большей или меньшей удовлетворенности, в зависимости от которого народ высказывается за или против данной династии или государственной формы правления. Сам Бисмарк доказал своим поведением верность такой аргументации. Он был, как сам заявлял об этом, «насквозь монархистом», но лишь до тех пор, пока жил Вильгельм I. Вильгельм II плохо обращался с Бисмарком, и Бисмарк его не любил и не скрывал своих чувств. Он повесил портрет «молодого человека» в буфетную и написал о нем книгу, которая не могла быть напечатана: так много в ней было напа-

док.

Монархисты, ставящие себе в заслугу свою прирожденную верность царствующему дому, заблуждаются в своих чувствах – они монархисты лишь постольку, поскольку данная монархия удовлетворяет их интересы лучше всякой другой государственной формы. Также и республиканцы, якобы превозносящие «величие народа», подразумевают при этом в первую очередь самих себя. Но в конечном счете народ считает лучшим такой образ правления, который лучше всего обеспечит ему порядок, работу, материальное довольство и нравственную удовлетворенность. Для девяноста девяти процентов населения патриотизм и восторженное отношение к той или иной форме правления являются лишь вопросом желудка. Добрый король им милее дурной республики и наоборот; форма правления является лишь средством достижения цели, цель же – не что иное, как общее довольство.

Проигранная война стерла ряд монархий, но и республика, в свою очередь, продержится в том только случае, если создаст среди народов убеждение, что она внесла в массы больше удовлетворения, чем монархия; а это, что касается немецко-австрийской республики, по-моему, ей еще требуется доказать.

Германскому народу систематически внушали, что отмеченные мною прописные истины есть не только ложные, но и предосудительные и преступные заблуждения, а что в действительности монарх поставлен на престол Божествен-

ным промыслом. Такое убеждение являлось также составным элементом миросозерцания самого императора. Все его речи были обусловлены этим основным мотивом, все они дышали этой мыслью. Между тем ведь каждый человек есть продукт своего рождения, своего воспитания и своего жизненного опыта. Если судить Вильгельма II, надо все время помнить, что он был обманут с молодости и что ему показывали мир, которого нет вовсе. Монархов следовало бы приучать к мысли, что народ их вовсе их не любит, что он в лучшем случае вполне к ним равнодушен и что он бежит за ними и ловит взгляд их не из любви, а из любопытства, приветствует их возгласами не из энтузиазма, а для забавы и по побуждению извне и что он готов столь же охотно и освистать их; что полагаться на «верность подданнических чувств» никоим образом нельзя, подданные даже и не думают быть верными, а желают лишь быть довольными, а что монархов они терпят или пока связывают с ними свое собственное благополучие, или пока у них не хватает сил свергнуть их. Такое учение соответствовало бы истине и охранило бы монархов от ложных выводов, которые иначе неизбежны.

Сам император Вильгельм служит прекрасной иллюстрацией моей мысли. Мне кажется, что не было правителя, одушевленного доброй волей, подобной его. Он жил исключительно ради своего призвания, как он его понимал; все его помыслы и интересы вращались вокруг Германии. Семья, развлечение, удовольствия – все отступало у него на задний

план перед мыслью возвеличить и осчастливить германский народ, и если бы для великих дел было бы достаточно одной доброй воли, то император Вильгельм совершил бы их все.

Но его с самого начала не понимали. Он говорил речи, делал заявления и жестикулировал с целью убедить не только своих слушателей, но и весь мир, – и как часто он этим отталкивал от себя! Но он никогда не отдавал себе отчета о впечатлении, которое он в действительности производил, – по той простой причине, что его систематически обманывали, и не только окружающие его в более тесном смысле, но и весь германский народ. Сколько миллионов людей, сегодня посылающих вслед ему одни только проклятия, готовы были преклониться перед ним до земли, когда он являлся во всем блеске своего величия! Как много людей испытывали блаженство, если на них случайно падал взгляд императора, а между тем они, вероятно, и сейчас не понимают, что сами виноваты в том, что показывали императору мир, которого нет, и направляли его по пути, по которому он бы сам не пошел.

Хотя, конечно, нельзя отрицать, что вся натура Вильгельма II была особенно восприимчива к такому отношению к себе германского народа и что монарх, менее талантливый, менее живой, менее красноречивый, а главное – менее преисполненный потребности всюду выступать самому, был бы лучше предохранен от яда популярности.

Я случайно имел возможность наблюдать императора

Вильгельма в один из важнейших моментов его жизни. Я встретился с ним у одного друга в те знаменитые ноябрьские дни 1908 года, когда в рейхстаге разразились бурные сцены против императора Вильгельма и когда тогдашний государственный канцлер князь Бюлов публично почти что отказывался от него. Хотя с нами, далекими и чуждыми ему гостями, он обо всем происходящем не говорил, но сильное впечатление, произведенное на него берлинскими событиями, было очевидно. У меня было чувство, что передо мною стоит человек, который с ужасом, с широко раскрытыми глазами в первый раз в жизни смотрит на мир, каким он есть. Он впервые увидел грубую действительность, и она казалась ему уродливой гримасой. Быть может, в первый раз в жизни он почувствовал легкое колебание, пошатнувшее на мгновение его престол.

Он слишком скоро позабыл урок. Если бы громадное впечатление, продержавшееся тогда несколько дней, было бы более устойчивым, оно, может быть, спустило бы его с эмпиреев, где он витал по воле окружающей его среды и народа. Может быть, он попытался бы ступить на землю твердой ногой. И, наоборот, если бы германский народ чаще вступал с императором в аналогичную схватку, он бы смог его излечить.

В тот вечер произошел небольшой инцидент, характерный для отношения к императору некоторых окружающих его лиц. По дороге в Берлин я имел случай наблюдать в од-

ном из больших железнодорожных буфетов, где ждал прибытия следующего поезда, впечатление, произведенное берлинскими событиями; я был свидетелем прилива небольшой волны, носившей почти революционный характер. В переполненном зале буфета слышались разговоры исключительно на одну и ту же тему: император подвергался резкой критике. Внезапно один из присутствующих вскочил на стол и произнес зажигательную речь против главы государства.

Находясь под впечатлением этой сцены, я рассказал о ней присутствующим сановникам, которым она показалась также весьма неприятной, но они меня умоляли ничего об этом императору не рассказывать. Среди них оказался только один, который резко возражал против общего мнения, высказываясь в том смысле, что необходимо сообщить императору об этом случае со всеми подробностями. Насколько мне известно, он действительно выполнил эту неблагодарную задачу.

Инцидент этот симптоматичен. Желание отстранять от императора все неприятное, дабы избавить его от малейшей, даже самой обоснованной критики, всегда только хвалить и превозносить его, скрывая от него действительность, систематическое обожествление его особы, вытекающее отнюдь не из монархических убеждений, а из чисто эгоистических соображений и страха попортить себе карьеру, – эта нездоровая и растлевающая атмосфера должна была в конце концов подействовать отравляюще на весь организм императо-

ра.

Я охотно верю, что император Вильгельм до такой степени отвык от критической оценки самого себя, что он едва ли поощрил бы откровенность. Но, несмотря на это, остается несомненным, что одуряющая атмосфера, окружающая его, была первопричиной всего зла, совершенного в его царствование.

В годы своей молодости Вильгельм не всегда строго придерживался конституционных принципов; впоследствии он совершенно избавился от этой ошибки и никогда не выступал, не обсудив данного шага со своими советниками. В эпоху, когда мне лично пришлось столкнуться с ним по долгу службы, он мог сойти за образец конституционности. При таком молодом неопытном государе, как император Карл, было вдвойне необходимо соблюдать принцип министерской ответственности в полном объеме. Так как по нашим законам император стоял «выше закона» и был «безответствен», то было безусловно необходимо, чтобы он не предпринимал ничего, имеющего государственное значение, без ведома и одобрения ответственного министра, и император Франц-Иосиф придерживался этого принципа как заповеди.

Император Карл был преисполнен благих намерений, но политически совершенно неподготовлен и неопытен. Его надо было воспитать и приучить к деятельности в рамках конституционности. К сожалению, это не было всеми обдумано и соблюдено.

После моей отставки в апреле 1918 года депутация комиссии по пересмотру конституции и центра верхней палаты посетила премьер-министра доктора Зейдлера и настаивала на важности соблюдения строго конституционного режима. Доктор Зейдлер заявил тогда, что он возьмет на себя всю ответственность за дело о письме, посланном австрийским императором французскому президенту через принца Сикста Бурбонского. Это было бессмысленно. Доктор Зейдлер никак не мог взять на себя ответственности за событие, имевшее место целый год до того, то есть в то время, когда он и не был еще министром, – уже не говоря о том, что и в бытность свою министром он не знал ничего о предпринятых тогда шагах и познакомился с истинным положением дела лишь после моей отставки. Он мог бы также свободно принять на себя ответственность за Семилетнюю войну или за битву при Садовой.

В 1917 и 1918 годах, когда мне пришлось встретиться по делам службы с императором Вильгельмом, он так боялся неприятных разговоров, что часто бывало чрезвычайно трудно довести до его сведения самое необходимое. Я вспоминаю, что мне пришлось раз пренебречь особой деликатностью, которую монархи вправе ожидать, и попросту вынудить у него прямой ответ. Я находился на Восточном фронте с императором Карлом и вышел в Львове, чтобы там пересесть в поезд императора Вильгельма и проехать с ним два часа; мне надо было ему кое-что донести, но ничего особен-

но неприятного я не имел сказать.

Не знаю отчего, но император, очевидно, ожидал тяжелых разговоров и решил про себя реагировать на просьбу аудиенции с глазу на глаз, в которой он прямо не мог отказать, пассивным сопротивлением. Он пригласил меня к утреннему чаю в вагон-ресторан, где мы просидели в обществе около десяти лиц, так что у меня не было никакой возможности завести разговор по существу. Чай давно отпили, а император не вставал. Мне пришлось несколько раз просить его выслушать мой доклад наедине и, наконец, повторить свою просьбу довольно решительно, пока он наконец не встал – и то пригласив с собою одного из присутствовавших чиновников министерства иностранных дел, как бы ища у него покровительства против ожидаемых нападок.

С чужими император Вильгельм никогда не был груб, со своими же, говорят, это случалось часто.

С императором Карлом дело было совершенно иное. Император Карл никогда не был неприветлив. Я никогда не видел его сердитым или злым. Сообщить ему неприятности не было ничуть страшно, потому что ожидать резкого ответа или какого-либо неприятного впечатления не приходилось. Но все же у императора Карла было так сильно желание верить одному только хорошему и отгонять от себя все неприятное, что критика или порицание не задерживались в его душе, – во всяком случае, не оставляли длительного следа. Но и императора Карла окружала среда, отнимавшая воз-

можность сказать ему голую правду.

Так мне, например, пришлось однажды по возвращении с фронта иметь с ним крупный разговор. Я сделал ему упрек относительно некоторых пунктов его правительственной тактики и утверждал, что его поступки производят неприятное впечатление не только на меня, но и на все население двуединой монархии. Я просил его вспомнить, какие исключительно большие надежды были возложены на него по вступлении его на престол, и заверил его, что 80 % этого доверия он уже утерял. Разговор закончился мирно, император был, как всегда, приветливым – хотя вполне естественно, что он не мог оставаться равнодушным к моим словам.

Несколько часов спустя мы проезжали через какой-то город, где не только вокзал, но и все вокзальные постройки вплоть до крыш чернели от густой толпы людей, приветствовавших императорский поезд с неподдельным восторгом. Подобные же сцены повторялись и на разных других станциях, где мы проезжали. Император обернулся ко мне с усмешкой, и я понял по его взгляду, что он совершенно убежден в ложности всего сказанного мною относительно его непопулярности, потому что живая картина, которую он сейчас имел перед глазами, доказывала ему обратное.

Когда затем я был в Брест-Литовске, в Вене начались беспорядки, вызванные недостатком снабжения. Ввиду общего положения и неизвестности того, до какой степени они разрастутся, в них чудилось нечто угрожающее. Когда я об-

суждал положение с императором, он сказал мне с усмешкой: «Единственный человек, которому нечего бояться, это я. Если беспорядки повторятся, я сам выйду к толпе, и вы увидите, с каким восторгом меня встретят». Не прошло и нескольких месяцев, как этот самый император совершенно бесшумно и безгласно сошел со сцены, и среди всех тысячей людей, приветствовавших его еще столь недавно, энтузиазму которых он так верил, не нашлось ни одного человека, который хоть бы рукой пошевелил в его защиту.

Я был свидетелем такого энтузиазма, который мог бы ввести в заблуждение и более скептического наблюдателя народной психики. Я видел императора и императрицу, окруженных рыдающими женщинами и мужчинами, задыхающихся в цветочных гирляндах; я видел, как люди падали на колени и возносили руки, точно преклоняясь перед божеством, и я не могу упрекнуть объектов такого восторженного поклонения за то, что они принимали эту фальшь за чистое золото, пребывая в убеждении, что народ любил их лично, любил примерно так, как дети любят отца или мать. Вполне понятно, что, насыщенные подобными впечатлениями, император и императрица считали все, что им говорили о критике и недовольстве народа, пустой болтовней; они твердо и непреклонно придерживались убеждения, что насильственные перевороты хотя и случаются в других странах, но у них немыслимы.

Ведь всякий обыкновенный гражданин, занимающий

некоторое время более высокое положение, переживает нечто аналогичное, только в меньшем масштабе. Я мог бы назвать имена многих лиц, готовых пресмыкаться передо мной, пока я был у власти, а после моей отставки спешивших при встрече перейти на другую сторону улицы, дабы не навлечь на себя императорской немилости. Но обыкновенный человек имеет возможность изучить свет в течение многих лет, предшествующих его карьере, и если он человек здравомыслящий, то оценит раболепство с одинаковым презрением как во время своего министерства, так и после него. Монархам же недостает этой жизненной школы, и поэтому они обыкновенно оценивают психологию народа совершенно неверно. И в этой трагикомедии обманутыми оказываются именно они.

Но гораздо менее понятно, когда ответственные советники, обязанные отличать правду от комедии, также дают ввести себя в заблуждение и извлекают из подобных сцен совершенно ложные политические выводы. В 1918 году император в сопровождении премьер-министра доктора Зейдлера отправился в югославянские провинции для ознакомления с местными настроениями. Вполне понятно, что ему там был оказан такой же прием, как и всюду: любопытство сгоняло людей на зрелище, затем давление властей, с одной стороны, и надежда на императорские милости, с другой – вызывали такие же овации, как и в других провинциях, «безусловно преданных династии». И не только император, но и Зей-

длер вернулись домой триумфаторами и уверенно высказывали свое убеждение, что все парламентские и печатные толки о сепаратистских тенденциях югославян сплошная чепуха и искажение истины и что об отделении от Габсбургского дома никакой речи нет.

Повторяю – если такие картины воодушевления и преданности монархии вводят в заблуждение того, к кому они относятся, то виновными являются в первую очередь не монархи, а те, кто инсценировал эти картины, – те, кто не открывал монарху глаз. Конечно, такое разъяснение, которое направлено против инстинктивных стремлений, против натуры монарха, по его естественной человеческой слабости удастся только тогда, если большинство окружающих подтвердят неприятные истины в аналогичной категорической форме. Потому что, если из десяти лиц только один или двое заявят, что все виденное лживо, а остальные будут им противоречить и разглагольствовать об очевидной «народной любви», то монарх конечно будет склонен верить многим приятным, а не нескольким неприятным советникам. Сознательно или нет, всем монархам претит пробуждаться от гипноза, но это вполне естественно.

Разумеется, в тесном кругу приближенных императора Вильгельма были и такие лица, чья гордость не выносила малейшего принижения: но большинству в целом приходилось страдать, а не наслаждаться от этого византинизма. Мне всегда казалось, что самые раболепные лица были не придвор-

ные, а генералы, адмиралы, профессора, чиновники, депутаты и ученые, которые видели императора лишь изредка.

В частности, во второй половине войны самые влиятельные лица в сферах, окружавших императора Вильгельма, отнюдь не были тем, что я называю византийцами, – и во всяком случае, к ним не принадлежал Людендорф. Византинизм был чужд всей природе Людендорфа. Он был энергичен, смел, имел определенную цель и знал себе цену; всякое противоречие раздражало его, и он не задумывался над выбором слов. При этом ему было совершенно безразлично, говорит ли он со своим государем, или с кем-либо другим – он нападал на всякого, кто становился ему на пути.

Но как много бургомистров, членов городской думы, университетских профессоров, депутатов, одним словом – общественных деятелей и людей науки, в течение долгих лет склонялись перед императором до земли; одно слово императора опьяняло их. И как много их среди тех, кто сегодня осуждает старый режим и его вырождение – и в первую очередь самого императора!

Во время войны деловые сношения политических лидеров с императором Вильгельмом были чрезвычайно затруднены тем, что в Берлине его никогда почти не бывало и он все время проводил в Ставке. Отсутствие императора Карла в Вене было также чрезвычайно усложняющим работу обстоятельством. Например, летом 1917 года император Карл находился в Райхенау, куда приходилось ехать два часа на ав-

томобиле. Я бывал у него еженедельно по два или по три раза и таким образом терял на дорогу туда и обратно и на аудиенцию от 5 до 6 часов, которые потом старался восстановить усиленной ночной работой. Несмотря на все уговоры своих советников, он ни за что не хотел ехать в Вену. Из некоторых его слов я вынес убеждение, что причиной этого постоянного отказа является забота о здоровье его детей. Он сам был так скромен, что его личные удобства, конечно, не могли быть причиной его отказа. После отставки Конрада никто из баденских генералов уже не противоречил императору.

Мне пришлось вынести большие неприятности из-за желания императора опять вручить эрцгерцогу Иосифу-Фердинанду какой-либо военный пост. Эрцгерцог считался виновником несчастных боев при Луцке. Я не берусь судить, было ли это мнение несправедливо, как думал император, или же нет, но факт, что он лишился общественного доверия, был твердо установлен.

Совершенно случайно я узнал, что решено принять его обратно на службу. Разумеется, этот чисто военный вопрос меня, в сущности, не касался. Но мне приходилось считаться с общественным настроением, которое не желало выносить дальнейших испытаний, и с фактом, что после отставки Конрада ни у кого из приближенных императора не хватит смелости сказать ему правду. Единственный генерал, о котором мне было известно, что он не перестал быть вполне откровенным с императором, – Алоиз Шенбург – был где-

то на итальянском фронте. Поэтому я сам сказал императору, что возвращение эрцгерцога немыслимо, так как он потерял всякое доверие тыла, и что нельзя требовать от матерей, чтобы они вверяли своих сыновей под начальство генерала, которого они считали виновником луцкой катастрофы. Император оставался при своем, уверенный, что такое мнение несправедливо и эрцгерцог не виновен в поражении. Я возразил, что если бы оно даже и было так, эрцгерцог все равно должен подать в отставку, раз уж случилось, что он утратил общее доверие; и что нельзя ожидать крайнего напряжения сил народов, населяющих Австрию, раз командование остается в руках генералов, которым никто не доверяет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.